

ЭРКМАН-ШАТРИАН

378

P 30027.



под властью
ВРАГА

ОГИЗ · ГОСЛИТИЗДАТ · 1942

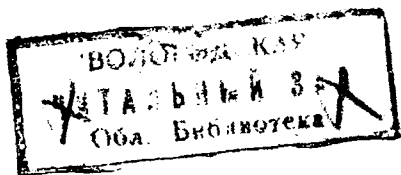


ЭРКМАН—ШАТРИАН

ПОД ВЛАСТЬЮ
ВРАГА

ПОВЕСТЬ

30027



ОГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1942

Мы печатаем здесь повесть „Под властью врага“ которая принадлежит перу двух французских писателей Эмиля Эркмана и Александра Шатриана, выступавших под псевдонимом, объединившим фамилии обоих. Повесть представляет собой сокращенный вариант романа этих писателей, носящего название „История одного плебисцита“.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Повесть Эркмана и Шатриана, двух писателей-эльзасцев, рассказывает о пленении Франции в результате бесславной франко-прусской войны 1870 года, когда французский народ был предан ничтожным своим правительством, был отдан на поток и разграбление наглому и зазнавшемуся врагу — прусской военщине.

«Это очень грустно и тяжело,—восклицает один из героев Эркман-Шатриана, — но его величество Бонапарт, его министры, родственники и друзья проиграли наше сено, нашу солому, наши деньги, наши поля, наши дома, наших детей и нас самих. Они играли глупо, не интересуясь ставкой, так как они убрали свои денежки в Швейцарию, Италию и Англию и рисковали только тем громадным стадом, которое они привыкли стричь и которое называется народом».

Победа немецкого командования во многом определялась тем, что правительство Наполеона III проявило полную никчемность, бездарность и трусость. И не напрасно известный французский философ Эрнест Ренан с горечью сказал, что никогда еще «несчастный народ не управлялся такими идиотами».

Поражения следовали за поражениями. Один за другим появлялись манифесты, возвещавшие «о потерянных сражениях» и «рассеянных войсках». Если же приходили известия о победах, то они оказывались ложными, и это сеяло панику среди населения.

Полководцы армии Наполеона были хвастливы и беспомощны. Рассказывают: один из них, некий

Дюкро, дал обещание, что он вернется или победителем, или мертвым. Но, увы, после поражения — Дюкро преблагополучно возвратился жив и невредим, за что и получил прозвище «генерал ни то, ни се».

Народ, руководимый подобными военачальниками, полководцами «ни то, ни се», не мог не потерпеть поражения.

Германское оружие одержало легкую победу во Франции 1870 года, а к подобного рода победам, во многом подготовленным извне подкупам и предательством, немецкая военщина питала и питает по сей день особую склонность.

Всякое сопротивление германскими захватчиками расценивается как борьба «не по правилам». На это яростно жалуются в наши дни фашисты, столкнувшиеся с героическим советским народом; этим возмущались и немецкие оккупанты, вторгшиеся во Францию в конце прошлого века.

Герой Эркман-Шатриана, крестьянин-эльзасец, современник и очевидец захвата Эльзаса и Лотарингии, рассказывает:

«Каждый раз, как проходил поезд с ранеными, негодование пруссаков увеличивалось. Они находили, что совершенно естественно истреблять наши жилища, разорять страну, расстреливать нас, но с нашей стороны... «низостью» было защищаться. Трудно представить себе большее лицемерие!»

И он же с горечью поясняет:

«Всякое сопротивление с нашей стороны казалось им чуть не преступлением, нарушающим их право повелевать нами, как *народом рабов*».

Книга Эркман-Шатриана просто и правдиво рисует картины германской оккупации. Методы захватчиков 1870 года оказываются весьма знакомыми: разрушение городов и предание их огню, истребление мирных жителей, террор и грабеж — весь арсенал средств, широко применяемый гитлеровскими разбойниками в современной нам войне.

Прусская военщина в 1870 году стремилась жестокостью, зверствами поработить французский народ, превратить его в «народ рабов».

«У нас ходили слухи, — говорит о пруссаках рассказчик, от лица которого ведется повествование. —

что в Вальшберге они раздели догола бедного мальчика, который по несчастью подошел к их батареям, и офицер собственноручно избил его до крови; в Катр-Ване они вытащили из погреба двух бедных стариков, выставили их на холод и дождь и продержали так в продолжение двух дней и двух ночей, угрожая смертью, если они тронутся с места. Ландверцы забирали волов, баранов, сено, солому, они ломали мебель, выбивали стекла из окон, и делали это ежедневно без всякого к тому повода, из одного удовольствия все уничтожать».

Реквизиции, поборы производились под угрозой сжечь селения и расстрелять всякого, кто осмелится сопротивляться. Оккупанты разоряли французских крестьян, отнимая у них скот, продовольствие и одежду. Хозяйства приходили в упадок, сельское население превращалось в нищих, голодало.

Французы должны были поставлять прусской армии не только продовольствие, но и даровую рабочую силу. Так, например, крестьян вместе с их лошадьми и телегами вынуждали следовать за германской армией.

Заставляя несчастных работать, пруссаки морили их голодом:

«Лошади эльзасцев отошала — только кожа да кости, а сами поселяне, бледные, желтые, едва держались на ногах от голода, а также от полученных ударов. За всю дорогу им не дали даже одного рациона хлеба: немцы все съедали сами.

На глазах немцев могли падать люди, несшие их же багаж,—падать от изнеможения и голода, и никто не подал бы несчастным стакана воды, потому что эти изнемогшие были французами; если бы с бедняками не делились последней крохой сами бедствующие лотарингцы, они все перемерли бы от голода».

Издевательства, невероятные страдания и постепенное физическое истребление — вот что несла и несет германская военщина населению оккупированных территорий.

«Молчание и повиновение» — священная заповедь, которая железным кулаком вколачивалась и вколачивается немецкими захватчиками покоренным народам.

Повесть Эркман-Шатриана дает обобщенный образ германского завоевателя, человека, который осуществляет зверства, предначертанные командованием.

Немецкому солдату присуще сознание своей полной бесправности перед лицом начальства; понимание этого систематически в него вколачивается: с солдатом германской армии обращаются, как со скотиной, лишают его человеческого достоинства.

«Чрезвычайно странные понятия высказывали наши постояльцы, — говорит герой повести, эльзасский крестьянин о немцах, — могло показаться, они и не понимают, что у каждого человека есть честь, будь он сын дворянина, купца или рабочего — все равно. Они выражали мнение, что чем у человека меньше сознания чести, тем он лучший солдат: требуется только, чтоб он беспрекословно повиновался».

И эльзасец видит: немецких солдат жесточайшей муштрой, подавлением в них всего человеческого превращают в людей-автоматов, в машины. Ведь «машина, как известно, делает все беспрекословно: ум, рассудок, доброе сердце ей вовсе не нужны».

Но ничтожен и преступен тот народ, который добровольно позволяет превратить себя в раба, в машину для истребления и угнетения других народов. Не сожаление, а ненависть вызывает немецкий солдат у эльзасского крестьянина.

Эта ненависть тем сильнее, чем яснее старый крестьянин видит, что немецкий солдат становится убивающим автоматом только во имя *личной наживы*, ради грабежа, ибо здесь-то он получает полную свободу. И этой свободой для разнузданных низменных инстинктов, свободой угнетения слабейших он довольствуется вполне.

Бесправный на родине, он, попав на оккупированные территории, ощущает себя неограниченным властелином над имуществом и жизнью поработенных народов. Здесь он компенсирует свою неполноценность как гражданина родной страны. Немецкий солдат развращен и бесправием и властью.

Эркман-Шатриан показывает, что если даже немецкий солдат и подымается до протеста против своего бесправия, то это значит только, что глубоко затронуты его *личные, частные* интересы.

Национальная рознь служит прусской военщине не только рычагом порабощения населения оккупированных стран, но и средством иерархического разделения самого немецкого народа.

«Всеми этими ландверами Бадена, Вюртемберга, Баварии командовали прусские офицеры: пруссаки доставляли офицеров, а другие немцы — солдат, таким образом немцев учили повиновению своим истинным повелителям. Господь бог создал пруссаков, чтоб повелевать, а других немцев — чтобы повиноваться».

Эти «другие немцы» — только «заступы, кирки и лопаты», только человеческий «материал» для войны, как объясняет пруссак баварцам, цинично добавляя, что их дело «подставлять свои лбы», слава же и прибыль принадлежат прусским начальникам.

«Хотя бы вас изрубили всех до последнего, кому какое дело до этого? — восклицает пруссак. — Разве архитектор обязан своей славой материалам, которые он употребляет при постройке? Разве заступы, кирки и лопаты — орудия побед?»

Баварцы восстают против такого их унижения пруссаками. Но говорит в них при этом не оскорбленное достоинство человека и война, но обида на то, что пруссаки их «одних всегда суют вперед», а сами «стоят позади и присваивают себе славу и прибыль». Это — возмущение мародеров, не поделивших добычи, это требование *особого равноправия—равной доли в награбленном*.

Книга Эркман-Шатриана дает правдивое изображение внутреннего разложения германской армии, ее гнилости, показывает, как растет ненависть французского народа к поработителям-оккупантам, показывает также и зарождение партизанского движения 1870 года, появление «вольных стрелков».

Но это движение не имело руководителей, оно дробилось на отдельные мелкие выступления отчаявшихся крестьян, бежавших в леса солдат разгромленной армии Наполеона III.

Повесть о событиях 1870 года, года позорного пленения Франции прусской военщиной, всем своим содержанием возвращает нас к сегодняшнему дню, когда поработенные народы Европы поднимаются на борьбу с кровавым фашизмом, этим прямым наслед-

ником «разбойничьей доблести» и «грабительских традиций» прусской военщины.

Но свободолюбивые народы сегодня не одиноки, как одинока была Франция 1870 года. Их мощным союзником является Советская страна, содружество свободных, гордых народов, чей героический отпор бандитским полчищам фашистов служит действенной поддержкой и помощью всем, кто ведет борьбу за очищение мира от коричневой чумы гитлеризма.

И единый фронт свободолюбивых народов, возглавленный великими демократиями СССР, Великобритании и США, стерев с лица земли нацистский гнойник, навсегда избавит Европу от захватов, грабежей и кровавых авантур, обеспечив всем странам свободу, мир и независимость.

Л. СКОРИНО.

I

В этот день мы пережили большую тревогу.

Часа в два, стоя у мельницы, я услышал в долине барабанный бой. Все селение было в отчаянии; только и слышалось со всех сторон:

— Пруссаки идут!

Из каждого дома выбегали люди, смотрели, прислушивались; мальчишки спасались в лес, матери оглашали воздух беспомощными криками. Некоторые из мужчин потрусливее также уходили в лес, унося подмышкой ломти хлеба; женщины звали назад беглецов и кричали, что хотят следовать за ними. Пока я смотрел на это грустное зрелище, на дороге неожиданно показались две телеги, которые неслись во всю прыть из Грауфтальской долины.

Шум этих телег я принял за отдаленный барабанный бой. Неделю спустя я не сделал бы этой ошибки, так как немцы являются всегда безмолвно, они не кричат, не трубят, и вы не успеете опомниться, как уже вас окружили двадцать тысяч человек.

Из обеих телег доносились крики, громче всех раздавался женский голос:

— Пруссаки за лесопильным заводом!

В ста шагах от мельницы телеги поехали тише, и я узнал Димера, нашего муниципального советника, который правил лошадьёю.

— Димер! — воскликнул я: — постойте! Что у вас делается?

— Пруссаки идут, г. мэр, — отвечал он.

— Боже мой! Если уж они должны притти, то немного ранее или позднее — все равно. Войдите на минутку.

Димер соскочил с телеги и рассказал мне, что утром он отправился в дом доментальского лесничего за женою и дочерьми, — они гостили там у родственников, — и на обратном пути увидал в маленькой Фишбахельской долине пруссаков, которые, поставив ружья в козлы, готовили себе кушанье.

Вот все, что он видел. Он пустился вскачь, чтобы избежать встречи с нашими врагами.

Вскоре подошли дровосеки, они уверяли, что Димер ошибся и виденные им солдаты были французы, а не пруссаки; за дровосеками явились новые беглецы, которые снова стали уверять, что это действительно пруссаки, и так продолжалось до самого вечера.

Часов в пять через наше селение прошел последний французский солдат; у этого бедного старика нога была ранена и обвязана платком. Присев на скамейку подле моего дома, он попросил Христа ради кусок хлеба и стакан воды. Я приказал Гредель принести хлеба и вина, что она охотно исполнила. Бедняга сильно страдал; у него в ноге сидела

пуля. Открытая рана, которую он не сумел перевязать как следует,гноилась, и от нее шел смрад. В таком положении несчастный зритащился к нам из Верта.

Он не ел тридцать шесть часов и рассказал нам, что его полковник, падая смертельно раненный, воскликнул:

— Друзья мои, вами дурно командуют! Нам нужны другие, честные генералы!

Боясь, чтобы больная нога не окоченела, наш раненый отдохнул всего лишь несколько минут и побрел в Фальсбург.

Это был последний французский солдат, которого я видел после рейхсгофенской битвы.

Около полуночи до нас дошла вестъ, что грауфталъские поселяне нашли в долине брошенную пушку, а часа через два, во время ужина, вбежала к нам соседка Катель.

— Пруссаки у ваших дверей! — сказала она.

Я вышел; десять или двенадцать улан стояли на дороге и, куря свои деревянные трубочки, поили лошадей у мельничной заводи.

Представьте себе мое удивление, когда один из улан приветствовал меня на дурном полуфранцузском, полунемецком языке:

— Э! здравствуйте, г. мэр! Я надеюсь, вы хорошо поживаете? Давненько я не имел удовольствия вас видеть.

Он был начальником отряда. Моя жена и Гредель смотрели на него из-за полуотворенной двери.

— А-а! — продолжал он, видя, что я ему не отвечаю, — г-жа Гредель, вы все такая

же хорошенькая и веселая! Я помню, вы всегда распевали утром и вечером, работая в саду.

Тогда Гредель, у которой было чудесное зрение, воскликнула:

— Да это тот мошенник, который приходил снимать виды наших окрестностей, тот, помните, с маленьким ящиком на четырех длинных ножках!

После слов Гредель, несмотря на темноту, я узнал в улане одного из немецких фотографов, которые несколько месяцев тому назад сновали по нашей стране и снимали портреты с поселян. Его звали Отто Крель; он был высокого роста, худощавый, бледный, с длинным носом и, отпуская комплименты, всегда моргал левым глазом. Ах, мошенник! — это был он, — уланский офицер.

— Так точно, г-жа Гредель, — отвечал он, сидя неподвижно на своей громадной лошади: — это я. Вы были бы отличным жандармом; тотчас признавали бы честного человека и мошенника.

И он захохотал.

— Говорите яснее, — отрезала Гредель, — я не понимаю вашего ломаного языка.

— Однако вы понимали Жана-Батиста Вернера, — заметил улан, — а как здоровье милейшего Жана-Батиста? Он все такой же весельчак, как и прежде? А вы все еще носите на сердце его портрет, — знаете, тот, который я три раза переделывал, так как вы все находили его недостаточно красивым?

При этих словах Гредель убежала на мельницу, а жена моя вошла в дом.

Тогда шутник обратился ко мне:

— Я очень рад вас видеть, г. мэ́р. Прежде всего я хотел, конечно, засвидетельствовать вам свое почтение, но у меня есть и маленькое дельце.

Я был слишком разозлен, чтобы отвечать, и он продолжал:

— Имеются ли еще у вас прекрасные швейцарские коровы и двадцать пять баранов, которые были в прошлом году?

Я тотчас понял, чего хотел разбойник, и воскликнул:

— У нас ничего нет в деревне; мы совершенно разорены и не можем ничего вам доставить.

— Ну, ну, не сердитесь, г. Вебер; я снимал ваш портрет в красном жилете и длинном сюртуке; я вас знаю, вы — отличный человек. Мне приказано вас предупредить, что завтра утром к вам явится пятнадцать тысяч человек; они любят хорошую говядину и баранину и не пренебрегают белым хлебом, эльзасским вином, кофе, французскими сигарами и овощами. Вот список всего, что им нужно. Приготовьтесь заблаговременно встретить их как следует. Иначе, г. мэ́р, они сами возьмут ваших коров, которых вы угнали в бихельбергский лес, ваши мешки с хлебом, ваше вино, это отличное белое риксвирское вино, — они возьмут все и потом сожгут ваш дом. Послушайте меня, примите их как братьев-немцев, которые пришли вас освободить от французского рабства; ведь вы — немцы в этой стране, г. Вебер. Приготовьте же сами реквизиции: сам всегда устройшь дело экономнее, чем другие. Я вам это говорю из дружбы, помня отличный обед, кото-

рым вы меня угощали в прошлом году, а теперь прощайте.

Он присоединился к своим товарищам, и они медленно направились к берлингенским высотам, налево от нашего селения.

Не заходя даже в дом, я тотчас побежал к Жоржу, моему двоюродному брату, чтобы рассказать ему о случившемся. Он собирался ложиться спать.

— Ну, в чем дело? — спросил он.

Волнуясь, я передал ему требование немцев. Он и его жена Марианна выслушали меня очень внимательно, и, подумав с минуту, Жорж сказал:

— Христиан, сила — всегда сила. Если мимо нас должны пройти пятнадцать тысяч человек, то пятнадцать тысяч пройдут через Метинг, пятнадцать тысяч через Катр-Ван, пятнадцать тысяч через Люцельбург и так далее. Неприятель ворвался в нашу страну. Фальсбург будет осажден, и если мы только пикнем, то нас задушат прежде, чем мы успеем крикнуть. Что же делать! Это война! Кто проиграет, тот и платит. Потому вот что я тебе советую в твоих собственных интересах и в интересах наших общих. Прежде всего верни своих коров из бихельбергского леса, а потом прикажи Давиду Герцу отвести двух из них на бойню; когда придут прусаки, то пусть он покажет им коров, убьет их и разрубит на куски. Этого мяса как раз хватит немцам на суп, а если нехватит, то пришли ко мне за моей лучшей коровой. Все в селении будут довольны и скажут: «Мэр и его двоюродный брат приносят жертвы для общины». Это отлично. Потом, начав с

нас и устранив всякий повод к ропоту, ты прикажи отобрать быка у Пласиара, корову у Жана-Адама, другую у Димера и так далее, соразмерно требованиям немцев, до тех пор, пока не выйдут все быки, коровы, свиньи, бараны и козы. То же самое ты сделаешь и в отношении хлеба, муки, овощей и вина, начиная всегда с себя и меня.

Это очень грустно и тяжело; но его величество Бонапарт, его министры, родственники и друзья проиграли наше сено, нашу солому, наши деньги, наши поля, наши дома, наших детей и нас самих. Они играли глупо, не интересуясь ставкой, так как они убрали свои денежки в Швейцарию, Италию и Англию и рисковали только тем громадным стадом, которое они привыкли стричь и которое называется народом. Да, бедный Христиан, это стадо — мы, крестьяне. Если б я был помоложе и мог нести военную службу, как в тридцать лет, то я поступил бы в полк, но теперь нам с тобою остается только склонить головы с ярой злобой в сердце и ждать, пока нация образумится и выберет других начальников для битвы с врагами.

Этот совет Жоржа мне показался самым разумным при настоящих обстоятельствах, я тотчас послал пастуха за моими коровами в Бихельберг. И я велел сказать всем, что если они не пригонят обратно в селение свой скот, то пруссаки пойдут за ним в лес, так как они знают дороги в нашей стране лучше нас самих.

В эту ночь с 9 на 10 августа маленький форт Лихтенберг, защищенный лишь несколькими ветеранами без оружия и снаря-

дов, сдался пруссакам; Мак-Магон удалился из Сарбурга с остатками своей армии, не взорвав Аршвилерского туннеля, потому что не было получено приказа свыше; немцы, сосредоточившись в Саверне, прежде всего отправили улан в Люцельбургскую долину для освидетельствования железной дороги, которую, как они полагали, французы непременно разрушат, потом пустили в туннель один паровоз, наконец, поезд, нагруженный камнями, и очень изумились, что путь в Лотарингию был им открыт, что, пока Мак-Магон уходил пешком, они могли его преследовать в вагонах и посылать прямо к Парижу свои пушки, лошадей, людей и продовольствие, которое они рассчитывали получить в Эльзасе путем реквизиций.

Все это мы узнали впоследствии.

В ту же самую ночь немцы возвели первые батареи у Катр-Вана против города Фальсбурга, который они обошли с другой стороны по прекрасной дороге, проведенной, повидимому, нарочно для них. Они не теряли времени, осматривали все, наблюдали за всем и оставались довольны.

Эта ночь прошла спокойно; у немцев было слишком много дела, чтобы беспокоиться о наших бедных, маленьких селениях. Зная очень хорошо, что мы не могли ни уйти, ни защищаться, так как вся наша молодежь была в городе и мы не имели ни оружия, ни снарядов, они считали нас только своими поставщиками.

По моему приказанию, наше стадо возвратилось из Бихельберга, и две мои лучшие коровы дожидались на скотном дворе чести быть пер-

вой реквизицией пруссаков. Все жители селения громко одобряли мои распоряжения, не подозревая, что их очередь также придет.

Время шло, и уже многие стали думать, что дело обойдется мирно, как вдруг эскадрон улан и эскадрон гусар показали в конце долины. Впереди, в виде авангарда, выступали несколько улан; этот порядок и впоследствии всегда строго соблюдался; в трехстах шагах от каждого отряда ехали два улана, держа пистолеты в руках и останавливаясь время от времени для рекогносцировки местности.

Все мы, мужчины, женщины и дети, смотрели из окон и дверей на этих солдат, которые шли с целью нас поглотить, разорить и уничтожить.

Кавалерия растянулась по высотам от Берлингена до Грауфталя, Вехема, Миттельбронна и далее; потом появились и пехотные полки с развевающимися черно-белыми знаменами.

Мы смотрели на все это молча, неподвижно. Офицеры, в остроконечных касках, скакали взад и вперед, развозя приказания.

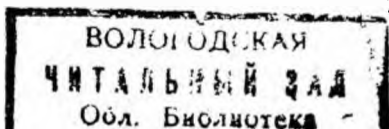
Патер Даниэль выглядывал из окна своего дома, а соседка Катель кричала:

— Господи! Мы никогда не думали, что на свете столько еретиков!

Мало-помалу кавалерия расположилась на высотах за холмами, а пехота наводнила долины.

До нас долетали команда офицеров, ржание лошадей и тяжелые шаги пехоты, выступавшей мерно, правильно, в такт.

Разместив пехоту, немцы поставили два или три орудия на высотах Вехема позади



холмов. Тут мы невольно подумали и о нашем сыне Жакобе да и о других молодцах, что оставались в Фальсбурге и которых немцы намеревались бомбардировать. Жена моя залилась слезами. А дочь, думая о своем Жане-Батисте, словно рехнулась, и, если б в доме оказалось ружье, я уверен, она способна была бы стрелять в пруссаков.

Гредель ходила взад и вперед по лестнице и комнатам, высовывалась в окна.

На восклицание одного из солдат: «Какая красавица!», она резко отвечала:

— Будьте всегда десятеро против одного, а то вам придется плохо!

Я с испугом бросился к ней и старался уговорить ее держать язык за зубами.

— А мне какое дело, пускай все жгут, тем лучше, — ответила она. — Я желала бы быть теперь в Фальсбурге, а не здесь, среди этих злодеев.

Лил дождь; пруссаки шли попрежнему полками и эскадронами. Более сорока тысяч человек находилось в долине; одни смыкались в ряды на полях и лугах, уничтожая траву и картофель, другие продолжали путь; колеса пушек, снарядных ящиков и багажных фургонов уходили в песок, но добрые лошади мгновенно их вытаскивали и ввозили на высоты.

Распространился слух, что после полудня немцы будут атаковать Фальсбург. Наши бедные мобили¹ и шестьдесят рекрутов, посту-

¹ *Мобили (La darde mobile)*— национальная гвардия, особый разряд вооруженных сил Франции, включавший всех мужчин от 20 лет до 40, способных носить оружие, но не вошедших по каким-либо причинам в состав армии или резерва.

пивших в артиллерийскую прислугу, должны были, повидимому, выдержать сильную бомбардировку. Видя, какое громадное количество ядер везли в Вехем, мы невольно восклицали:

— Бедный город!.. Бедные граждане!.. Бедные женщины!.. Бедные дети!..

Дождь усиливался; ручей разливал свои воды по всей Грауфтальской долине. Тогда офицеры явились в наше селение отыскивать себе пристанища; многие, преимущественно гусары, вошли в дом Жоржа. Около этого же времени на мельницу прибыл какой-то господин в круглой шляпе, в черных панталонах и в таком же плаще.

— Вы господин мэр? — спросил он.

— Да.

— Хорошо! Я пастор при армии и поселюсь у вас.

Не успел он произнести последних слов, как явился стрелковый офицер, громко крича:

— Командир остановится здесь!

Хорошо! Мне нечего было отвечать.

Ефрейтор, следовавший за офицером, сошел с лошади и осмотрел конюшню и сарай.

— Выведите все это отсюда, — сказал он.

— Как?! Вывести моих лошадей и скот?

— Да, и поскорей! У командира двенадцать лошадей, для которых необходимо хорошее помещение.

Я хотел было возражать, но офицер принялся кричать и браниться, угрожая тотчас свести всю скотину на бойню, если я немедленно не исполню его приказания. Делать было нечего; я очистил конюшню, но сердце мое было полно грусти и отчаяния.

Гредель видела все это из окна и, сойдя вниз, сказала офицеру со страшной злобой:

— Вы, должно быть, подлец, что обращаетесь так грубо с беспомощным стариком!

От страха волосы встали у меня дыбом, но офицер ничего не отвечал и тотчас удался.

Тогда пастор сказал мне на ухо:

— Вы будете иметь честь принимать у себя в доме главнокомандующего, генерала, которого вы должны называть ваша светлость.

Я невольно подумал:

«Чорт бы побрал всех генералов! Провалились бы все вы, немцы, сквозь землю! Вы созданы только на горе человечества!»

Я, конечно, это только подумал, а не высказал. За два дня перед тем пруссаки расстреляли несколько человек в горах, и носились слухи, что они повесили бог знает за что одиннадцать гунштетских поселян, отцов семейств.

Пока я размышлял о наших бедствиях, к мельнице подъехал его светлость с адъютантами и прислугой. Гости соскакивают с лошадей, входят в дом, вешают на стену свою мокрую одежду и располагаются на кухне. Жена моя спасается наверх, а я забиваюсь в уголок за печкой.

Теперь уж мы решительно не имели ничего своего собственного.

Генерал оказался человеком очень высокого роста и едва мог войти в мою дверь. Он был красивым мужчиной, так же как его адъютанты, полковник Эклофштейн и барон

Энгель. По росту и аппетиту трудно было бы найти им равных. Их нисколько не стесняло мое присутствие. Они ходили по всем комнатам, смеялись и болтали, не обращая на меня никакого внимания, точно это я находился в их доме, а не они в моем.

С момента прибытия непрошенных гостей до самого их ухода огонь на кухне не потухал; дрова мои пылали; мои кастрюли, чугуны и вертела были в непрерывном употреблении; моих кур, уток и гусей ловили, убивали, потрошили и жарили; из говядины делали бифштексы. Потом открывали мои шкафы, брали скатерти, стаканы и отыскивали бутылки с вином в погребе.

Все, что изготавливали на кухне, подавали генералу и его офицерам; двери и окна моих комнат оставались открытыми, и дождь свободно в них проникал; ординарцы постоянно приезжали верхом и, получив приказания, удалялись.

Около шести часов началась канонада у Катр-Вана; два городских бастиона, арсенальный и пекарный, отвечали таким же огнем.

Это была бомбардировка 10 августа. Нам суждено было впоследствии видеть и слышать много подобных канонад, но, услышав впервые в нашей мирной долине громовые раскаты артиллерийских орудий, мы невольно задрожали от страха.

Каждый раз как раздавался громкий гул наших крепостных пушек, Гредель восклицала:

— Вон наши палят!.. Мы еще не умерли!.. Слышите?

Я всеми силами старался ее унять и на во-

просы его светлости: «Что такое?» — поспешно отвечал:

— Ничего, это моя дочь; она сумасшедшая.

В семь часов пальба прекратилась.

За несколько минут перед этим барон Энгель вышел от его светлости и, возвратясь, объявил, что в город отправлен парламентар с требованием немедленной сдачи, а в случае отказа бомбардировка должна была снова начаться.

Наступила тишина. Его светлость обедал. Вдруг прискакал гусарский генерал; на взгляд он был просто чудовище, с плоским лбом, рыжими волосами, косоглазый. Главкомандующий протягивает ему руку. Они здороваются, смеются и продолжают обед. За едой гусарский генерал рассказал нашему постояльцу, что захватил палатку Мак-Магона с великолепными зеркалами, фарфоровой посудой, женскими шляпками и кринолинами. Смеясь и раскрывая при этом рот до ушей, он повествовал далее, что, проходя по эльзасгаузенскому лесу, случайно напал на селение Гундерсгофен, где находилось несколько рот французской пехоты, и истребил их до последнего человека. Рассказав этот подвиг, гусар захохотал уже во все горло, говоря, что военное ремесло приносит, однако, прекрасные минуты, и этот случай составляет одно из его лучших воспоминаний.

«И это христиане?! — думал я, сидя за печкой. — Да они хуже волков; они, пожалуй, стали бы пить кровь из черепов убитых».

Они продолжали разговаривать; наконец, явился молодой офицер с известием, что

Фальсбургцы не хотят сдаваться, и потому город будут тотчас бомбардировать зажигательными снарядами с целью произвести в нем пожары.

Я не мог более сидеть и слушать о подобных ужасах; Гредель и моя жена заперлись наверху в своей комнате, а я вышел, чтоб подышать свежим воздухом, не тем, которым дышали наши губители.

Дождь не прекращался, а полки тянулись попрежнему. Белые кирасиры теснились в долине вокруг Метинга, а другие полки массажи шли к Сарбургу; штыки и каски блестели. Легко было понять, что наша несчастная армия в двести тысяч человек не могла противостоять такому наплыву человеческих масс.

Все эти бесчисленные немцы, расположившиеся в нашей долине, под дождем начинали рубить фруктовые деревья на дрова. Падали наши великолепные яблони и грушевые деревья, еще покрытые плодами; их обдирали, рубили на куски и зажигали такими громадными кострами, что дождь не мог потушить огня. Вся долина освещалась этими ужасными маяками.

Какая потеря для страны! С 1814 года потребовалось пятьдесят шесть лет, чтоб взлелеять эти деревья; они теперь были в полной силе. Наши дети ранее пятидесяти лет уже не увидят подобных красавцев. Наши селения обнажены, и все деревья истреблены, уничтожены.

Это зрелище наполнило мое сердце отчаяньем и, отвернувшись, я пошел к Жоржу, надеясь услышать от него хоть несколько слов утешения.

Дом Жоржа был переполнен. Марианна стряпала для незваных гостей, которые наполнили и дом и аллею перед ним, курили трубки, дожидаясь похлебки из говядины и картофеля. Похлебка варилась в большом котле; он раньше предназначался для белья, но в чем другом было готовить для такой уймы людей?

Каждый солдат имел кусок говядины, ломоть хлеба, бутылку вина и даже порядочное количество молотого кофе; у некоторых виднелись в карманах кочны капусты, лук, репа. Солдаты эти были гусарами.

В большой зале находились офицеры, только что возвратившиеся с рекогносцировки. Их тяжелые сапоги и звонкие шпоры слышались и на лестнице и в верхних комнатах.

Я вошел с черного хода, так как аллея была запружена солдатами. Жорж увидал меня среди массы касок и воскликнул:

— Христиан, останься на улице, здесь душно, я выйду к тебе!

Ему дали дорогу, как хозяину, и мы пошли с ним в сад.

— Ну, — сказал он, закуривая трубку, — что у вас делается?

Я рассказал ему все.

— Я принимал гусарского генерала еще вчера вечером, — сказал Жорж, когда я кончил. — После ухода улан, часов в одиннадцать, я услышал стук в ставни. Я выглянул... два эскадрона гусар окружили дом. «Отворите!» — закричали извне. Я повиновался. Первым вошел их генерал.

— Вы одни? — спросил он, держа в правой руке пистолет и осматриваясь по сторонам.

— Да, один с женою.

— Хорошо.

Он обернулся и кликнул своего адъютанта. Три или четыре солдата вошли в комнату и по его приказанию вынесли стол и стулья на кухню. Тогда генерал разложил на полу огромную карту и, сняв сапоги, лег на нее.

— Такой-то, т й-то, такой-то, — кричит он во все горло.

— Здесь, генерал.

И шесть или семь офицеров входят в комнату и вынимают из кармана маленькие карты

— Такой-то, знаете вы дорогу в Метинг?

— Да, генерал.

— А из Метинга в Сарбург?

— Да, генерал.

— Называйте места.

И офицер начал быстро называть селения, фермы, ручьи, мосты, леса, дороги и даже тропинки. Генерал все время следил пальцем по карте.

— Хорошо! — сказал он. — Возьмите двадцать человек и сделайте рекогносцировку до Сен-Жана. Если встретите сопротивление, уведомьте меня. Ну, живей!

Офицер вышел, а генерал позвал другого.

— Здесь, генерал.

— Вы знаете дорогу в Ликсгейм?

— Да, генерал.

И та же история повторилась. Через полчаса он разослал всех своих офицеров по различным направлениям: к Сарбургу, к Ликсгейму, к Дамерингену, к Люцельбургу, к Фенетранжу и так далее... Когда все они уехали, при нем осталось не более двадцати или тридцати солдат, он встал и сказал мне:

— Дайте мне хорошую постель, а завтра к

семи часам утра приготовьте сытный завтрак. Все офицеры, которых вы только что видели, будут завтракать у меня; аппетит после экспедиции у них будет прекрасный. У вас хорошая провизия и вино, а жена ваша, я знаю, замечательная кухарка. Я желаю, чтоб все было отлично. Понимаете?

Жена проводила его наверх и указала ему на свою постель. Он осмотрел все шкафы, заглянул под кровать. Затем отворил окно и, убедившись, что часовые стоят на своих местах, лег спать.

До утра все было спокойно. Когда офицеры возвратились, то генерал выслушал их доклад и тотчас же послал оставшихся при нем солдат в Дазенгейм. Через два часа эти гусары возвратились с авангардом немецкой армии. Рекогносцировка, произведенная генералом, доказала, что все горные проходы оставлены французами и немцы могут свободно войти в Лотарингию; что Мак-Магон и Фальи удалились с остатками своих армий и в этой местности не предвиделось более сражений.

Вот что рассказал мне Жорж, покуривая трубку.

Дверь из кухни была теперь отворена, и мы видели теснившихся там немцев в касках, мокрой одежде и с кусками мяса подмышками. Когда кушанье было готово, Марианна принялась выдавать бульон, говядину и овощи солдатам, подходившим с различной посудой; они тотчас удалялись, и их места занимали другие. Я никогда не видывал столько говядины и такой свежей; одного подобного куска хватило бы на четырех или пятерых французов.

Как грустно было думать, что наши солдаты

так страдали от голода в своей собственной стране, тогда как враги набивали себе желудки нашим добром. Мы с Жоржем думали об одном и том же.

— Да, немцы устроились лучше нас! — сказал он. — Это мясо не здешнее, ибо они еще не делали реквизиции; оно идет по железной дороге; я видел, как сегодня выгружали провизию из вагонов. Вместе с мясом привезли для офицеров громадные колбасы и прочие неизвестные мне съедобные припасы; и все это отличное, только хлеб у них черный, но они едят его с удовольствием. Их интендантские чиновники не такие блестящие, как наши, они не умеют выводить великолепных итогов, но их солдаты получают мясо, хлеб, вино, кофе, а наши умирают с голода, как мы сами видели. Если бы им дать хоть половину немецких раценов!

Около одиннадцати часов вечера я возвратился домой, более спокойный, чем утром. Часовые меня уже знали. Главнокомандующий, оба его адъютанта и пастор спали. Они расположились на наших постелях, а прислуга их разлеглась на соломе в сарае. Что касается меня, то я решительно не знал, где мне лечь. Несмотря на это, я немного успокоился и, обдумывая слова Жоржа, говорил себе: «Если немцы получают продовольствие по железной дороге, то не все еще потеряно. Мы сохраним свой скот, и к тому же немцы уйдут от нас далее».

Размышляя таким образом, я пошел на мельницу, лег на мешки с мукою и вскоре заснул.

Но на другой же день выяснилось, что

Жорж ошибся: немцы продовольствия по железной дороге не получали. Каждую минуту ко мне приходили крестьяне с жалобами на пруссаков, точно я был ответственным за грабеж.

— Г. мэр, у меня взяли горшок с салом, — говорил один.

— Г. мэр, у меня утащили сапоги из-под кровати, — говорил другой.

— Г. мэр, все мое сено немцы скормили лошадям, — говорил третий: — чем мне кормить свою корову?

И так далее и так далее.

Немцы поступали самым бесцеремонным образом и, по праву победителя, без зазрения совести брали все, что хотели.

Эти жалобы меня так взорвали, что я решил доложить о бесчинствах командиру. Он выслушал меня очень любезно и заявил, что сожалеет о случившемся, но французская поговорка «*A la guerre comme à la guerre*»¹ относится столько же к крестьянам, сколько и к солдатам.

Однако все это было бы ничего, если б не начались реквизиции. Ко мне пришли квартирмейстеры для переговоров. На все уверения, что мы люди бедные, разоренные, они отвечали:

— Хорошо, хорошо, устройте дело, как знаете; нам необходимо столько-то тысяч копен сена, столько-то мер овса и ячменя, столько-то четвериков муки, столько-то пудов мяса — все равно, какого: говядины или баранины, но

¹ «*A la guerre comme à la guerre*» — «На войне, как на войне».

первого сорта. Если же вы не поставите нам этих припасов, г. мэр, мы сожжем ваше селение.

Я хотел ударить в набат, чтобы созвать муниципальный совет, но колокольный звон был запрещен; тогда я послал на дом за каждым муниципальным советником, приглашая их собраться, но никто не двинулся с места: они полагали, что, оставаясь дома, лишат немцев возможности делать поборы с селения.

Находясь в такой крайности, я приказал Мартину Копу, при барабанном бое, прочесть список требуемых реквизиций. При этом я просил, чтобы все благоразумные люди поспешили исполнить эти требования к одиннадцати часам утра, если они не желают, чтобы немцы с двух концов подождгли наше селение.

Не успел Коп прочесть это объявление, как уже каждый крестьянин поторопился снести в мэрию все, что имел.

Квартирмейстеры забрали все—между прочим мою лучшую корову — и дали мне расписку в получении припасов.

Негодование жителей нашего селения было безгранично.

Благодаря чрезмерным реквизициям, которые производили немцы в первые же дни их нашествия, в нашем околотке нельзя было найти ни одного фунта солонины, а о свежей говядине нечего и говорить. Однако, когда немцы решительно настаивали на своих требованиях, — все находилось в изобилии. На французов более всего действовала угроза сжечь дотла селения. Везде ходили страшные рассказы о действиях немцев в Эльзасе, и не-

удивительно, что ~~я~~ считали способными исполнить жестокую угрозу.

Собрав реквизиции, пруссаки сняли свой лагерь и объявили нам, что их место займут другие. Я слышал, как барон Энгель послал эстафету в Сарбург с приказанием приготовить шесть тысяч рационов хлеба и кофе. Теперь я понял, что мы должны были кормить *всю* немецкую армию до конца кампании, и немецкое интендантство перестало мне казаться великолепным учреждением.

Не успел еще уехать главнокомандующий с своей свитой, как явился гусарский капитан Коломб с шестью солдатами и, спустя немного, какой-то граф с тремя солдатами. Они приехали из Саверна, совершенно мокрые и голодные.

Я объяснил им, что у нас все взято и нам нечем жить самим, но они не хотели этому верить, и моя жена должна была собрать все крохи и кое-как приготовить обед.

За столом эти офицеры рассказали нам, что после битвы под Вертом немцы повесили одиннадцать крестьян в Бонштете. Наши постояльцы также сказали нам, что на другой день придет поезд, которым подвезут провиант. Это действительно сбылось, но, по несчастью, поезд не остановился и прошел далее, в Сарбург.

Фальсбургские крепостные орудия сбили прусские батареи, воздвигнутые в Катр-Ване. Значительное количество немцев — больных и раненых — было отправлено в большой савернский госпиталь, некоторых же положили в доме, занимаемом школой, в селении Пфальсвеер. Пруссаки сердились на свою неудачу;

они не хотели допустить мысли, что мы должны и можем защищать себя; всякое сопротивление с нашей стороны казалось им чуть ли не преступлением, нарушающим их право повелевать нами, как народом рабов. Я постоянно слышал от них подобные жалобы: то ли они нас считали скотами, то ли сами были достойны уподобиться скотам, — что вернее, право, не знаю.

После поезда с продовольствием, который был так велик, что тянулся два часа, стали проходить мимо нашего селения бесконечные составы, которые везли пушки и зарядные ящики; никогда мы не слыхивали такого страшного шума: он напоминал kloкочущий по горам бурный поток.

Теперь мимо нас шел 11-й немецкий корпус. Всего таких корпусов у немцев было двенадцать; в каждом корпусе считалось в строю восемьдесят или девяносто тысяч человек.

Мы решительно ничего не знали о положении наших войск, наших друзей и родственников в Фальсбурге: мы находились словно на острове, среди бушующего наводнения пруссаков, саксонцев, баварцев, вюртембергцев и баденцев, которые все шли и шли без конца.

Повидимому, реквизиций, произведенных накануне, и громадного поезда с продовольствием было для немцев недостаточно; они не хотели уже более обращаться к мэру; тотчас после отъезда останавливавшихся у нас офицеров, в семь часов утра, в селении поднялся страшный крик: пруссаки хотели разом захватить все наше стадо. Но на этот раз они дурно взялись за дело: они окружили со всех

сторон дома, и поселяне успели угнать скотину в задние ворота, а оттуда по горным откосам в лес, так что немцам не досталось почти ничего.

С этой минуты, несмотря на все угрозы неприятеля, наш скот оставался в лесу на горных вершинах. Около этого же времени стали распространяться слухи, что в горах бродят французские партизаны; одни уверяли, что это тюркосы, спасшиеся из-под Верта; другие же—что это вольные стрелки. Во всяком случае пруссаки перестали ходить небольшими отрядами по уединенным тропинкам, и, вероятно, по этой же причине они не преследовали наш скот в Крапенфельце.

На другой день, 13 августа, в немецком лагере близ Вехема произошло движение. Старик прусский принц, известный своим продолговатым носом и выдающимся подбородком, человек энергичный и почти никогда не сходящий с лошади, был в Метинге; носился слух, что вскоре начнется страшная бомбардировка Фальсбурга: шестьдесят орудий уже выставили у вехемской мельницы и насыпали земляной вал для прикрытия этой батареи.

В этот день, когда я менее всего ожидал незваных гостей, явились снова квартирмейстеры за реквизициями. Я объявил, что весь наш скот разбрелся по лесу по их собственной вине: они хотели забрать все разом и теперь ничего не получат.

На мои справедливые замечания они отвечали угрозами. Тогда я воскликнул:

— Берите меня!.. Ешьте меня!.. Я старик—от меня не растолстеете!..

Однако, слыша их обычные угрозы сжечь селение, я велел объявить всем жителям, что пруссаки требуют тысячу мер овса и ячменя и три тысячи пудов соломы и сена; если же к двенадцати часам все это не будет приготовлено,—они без всякого милосердия сожгут наши дома.

И теперь, как в первый раз, уstraшенные жители принесли на площадь все, что требовалось. Немцы нашли верное средство заставить людей отдать все, до последнего зерна: *огонь! огонь!* — вот могучее средство, которым держали нас постоянно в страхе.

В тот же день, вечером, несколько эльзасцев в телегах возвращались домой из Люневилля через наше селение. Они возили пруссаков; лошади крестьян отошдали—только кожа да кости; а сами поселяне, бледные, желтые, едва держались на ногах от голода, а также от полученных ударов. Во всю дорогу им не дали даже одного рациона хлеба: немцы все съедали сами. На глазах немцев могли падать люди, несшие их же багаж, падать от изнеможения и голода,—и никто не подал бы несчастным стакана воды, потому что эти изнемогшие были французами; если бы с бедняками не делились последней крохой сами бедствующие лотарингцы, они все перемырли бы от голода.

Все это истинная правда, и мы сами впоследствии убедились в этом на горьком опыте.

После проезда несчастных эльзасцев, для которых я с трудом нашел немного хлеба, так как немцы три дня тому назад взяли у нас прямо из печи двадцать семь хлебов,

прискакали с шумом и треском два немецких адъютанта. Первый объявил, что за ним едет полковник, второй, что за ним следует генерал.

На мою долю выпала честь принимать полкового командира какого-то силезского гренадерского полка, кроме того и сам генерал удостоил меня своим посещением и поужинал у меня. Мои неожиданные гости объявили нам, что на другой день начнется серьезная бомбардировка Фальсбурга. Эти почетные особы были, должно быть, чрезвычайно наивны, если полагали, что подобное известие доставит большое удовольствие мне, моей жене и дочери.

Вместе с полковником прибыло знамя его полка, которое и водрузили в его комнате. Этот полк пришел прямо с австрийской границы, где он дождался объявления нейтралитета тамошними добрыми католичками, чтоб присоединиться к немецкой армии, уже пожинавшей военные лавры. Я узнал эти подробности из разговора моих гостей.

Эта ночь была для нас очень беспокойной. Офицеры, один за другим, требовали от нас разных услуг. Моя жена вынуждена была стряпать для каждого из них, подавать им кушанье и вообще прислуживать; Гредель, несмотря на свою ненависть к немцам, бледная, стиснув зубы, помогала матери. Генерал и полковник ужинали в девять часов, адъютант в десять, и так далее в продолжение всей ночи: они не обращали никакого внимания на усталость бедных женщин и очень веселились.

Наконец я заснул сидя. Но едва рассвело,

как во всем доме раздались звяканье шпор и крики адъютанта:

— Иди же, скотина! **Иди**, дурак, осел, свинья! Придешь ли ты, **болван?**

Так взывал он к своему слуге. Вообще мне нередко случалось видеть подобные же сцены. Немецкие офицеры обращались со своими слугами, как со скотом, и, кажется, надеялись, что и мы станем сносить подобное же обращение, чтобы за свою покорность и смирение удостоиться быть причисленными к добродетельной немецкой нации.

Полковник позавтракал в пять часов утра, и полк выступил в поход. Часов в семь утра началась страшная бомбардировка. Шестидесят орудий, поставленных в Вехеме, разом открыли огонь. Фальсбург тотчас отвечал, но в половине восьмого над городом показался черный столб дыма. Большие крепостные орудия продолжали канонаду с новой силой; ядра свистели, бомбы лопались на горных откосах, а громовые раскаты вильшбергского бастиона доносились, благодаря горному эху, до отдаленнейших мест Эльзаса.

Моя жена и Гредель молча смотрели друг на друга, а я ходил взад и вперед, поникнув головой и думая о моем сыне — Жакобе, который был заперт в осажденном Фальсбурге, и о горожанах, о всех бедных тружениках, у которых теперь погибло их имущество, нажитое пятидесятилетними трудами и лишениями.

В десять часов я вышел из дома; столб дыма все ширился и рос; этот дым казался громадным черным знаменем, которое то опускалось на землю, то вздымалось к небу.

Эскадрон кирасир, а за ним эскадрон гусар

проскакали мимо селения по дороге в Метинг, где находилась главная квартира прусского принца.

Ядра из шестидесяти немецких орудий падали прямо в город, а французские бомбы перелетали через прусские батареи и лопались в открытом поле. Доносился глухой гул люцельбургских орудий, от которых, вероятно, дрожал старый замок.

Часов в одиннадцать пришел офицер с маркитантом и просил уступить ему несколько ведер вина, обещая мне исправно заплатить. Это, конечно, была учтивая форма реквизиции; можно ли отказать в кредите людям, в руках которых находится ваша жизнь! Делать было нечего; я провел их в погреб, и маркитант налил себе два бочонка вина.

Спустя несколько времени возвратился полковник вместе с своим полком; не слезая с лошади, он потребовал только кусок хлеба и стакан вина, что моя жена тотчас ему и подала. Не успел он еще удалиться, как маркитант снова явился за вином, но на этот раз с фельдфебелем, который клялся, что в тот же вечер деньги будут уплачены. Они опорожнили мою бочку и ушли довольные собою.

Между тем канонада продолжалась, и столб дыма над городом становился все больше и гуще. Бомбы из Фальсбурга лопались над берлингенской долиной. В четыре часа половина города была в огне, в пять пожар распространился далее, и только каменная колокольня собора возвышалась обнаженной черной массой; балки и крыша сгорели, колокола расплавились. В шесть часов, стоя у дверей наших домов, мы с ужасом увидели, как пламя

Объединенными языками взвилось к небу над столбом дыма.

Канонада замолкла. Немцы послали парламентаря предложить коменданту сдать крепость, но наши молодцы и вообще все жители Фальсбурга не принадлежали к тем людям, которые сдаются; чем более жгли домов, тем менее оставалось имущества, стоящего спасения; к тому же, по счастью, в Фальсбурге оставалась вся мука, которую до рейхсгофенской битвы хотели послать в Мец. Таким образом, продовольствия должно было хватить надолго. Мог оказаться только недостаток в мясе и соли.

Ночью возвратился парламентарь, и мы узнали, что комендант отказался сдать крепость.

Канонада снова возобновилась; и прусские ядра убили нескольких несчастных женщин и детей, вышедших на улицы из казематов. Но вскоре огонь прекратился с обеих сторон. Было десять часов. Мертвая тишина, воцарившаяся после такого страшного шума, невольно поразила нас. Я стоял в дверях, как вдруг увидал перед собою Жоржа.

— У тебя никого нет? — спросил он.

— Никого.

Мы вошли в комнату, где сидели Гредель и моя жена.

— Ну, — сказал он, смеясь, — наши молодцы не сдаются; комендант храбрый человек.

Он уселся и закурил трубку. Пожар в городе был так велик, что зарево освещало наши окна. Из двухсот городских домов горело по крайней мере пятьдесят и церковь. Благодаря расстоянию никакие звуки до нас не долетали, а лишь доходил отблеск зарева, который не-

сколько бледнел под лучами серебряной луны, спокойно, величаво глядевшей на преступление людей.

Жорж смотрел в окно долго, насупив брови, потом, не сказав ни слова, ушел.

Мы не ложились в продолжение всей ночи; в целом селении никому не спалось; у каждого был в Фальсбурге сын, брат или друг.

На следующий день 15 августа, когда рассеялся утренний туман, мы увидали, что облако дыма все еще поднималось к небу, но не столь густое и обширное. Немецкая армия продолжала свой путь по направлению к Нанси. Поручик, обещавший заплатить за вино, ушел вместе с другими, даже не сказав мне ничего.

Я никому не посоветую отпускать немецким офицерам что-нибудь на слово!

Однако отряды пехоты и артиллерии оставались вокруг Фальсбурга, в Вехеме, в Вальшберге, в Бишельберге, в Катр-Ване и так далее. Носился слух, что немцы вскоре получат большие орудия для правильной осады, но пока они имели силы только для охраны железной дороги, туннеля и с нашей стороны грауфталевского прохода.

С этого времени мы уже видали только незначительные бомбардировки, и гарнизон Фальсбурга мог бы делать успешные вылазки, так как мы с большим бы удовольствием отдали свою скотину французским солдатам, чем немецким, изволившим нас реквизициями.

Да, эти реквизиции тяготили нас всего более. Семь или восемь тысяч немцев, осаждавших город, жили целиком на наш счет.

Впрочем впоследствии, во время осады Меца, нам суждено было перенести еще большие бедствия.

II

Спустя несколько дней после ухода последних эскадронов немецких гусар, однажды утром мы узнали, что фальсбургцы сделали вылазку для похищения бишельбургского скота. В эту ночь они могли бы захватить в плен весь немецкий гарнизон селения, но офицер, командовавший отрядом, не отличался военными способностями. Вместо того, чтоб подойти тихо, он приказал стрелять из пушек в двухстах шагах от неприятельских аванпостов, чтоб запугать пруссаков. Немцы, конечно, поспешно вскочили с постелей, и стремительно бежали, стреляя по нашим, а крестьяне живо угнали свои стада в лес.

Из этого видно, как наши офицеры вели войну.

Всего обиднее было, что пруссаки смеялись над нами, бедняками, называя нас *la grande nation*¹. Однакож не наша была вина, если половина французских офицеров, вышедших из школы иезуитов, не знала своего дела. Если б наших детей учили военным приемам; если б у нас на военной службе должны были служить все, как в Германии, и если бы каждый занимал место, соответствующее его знаниям и мужеству, я думаю, пруссакам не пришлось бы так часто смеяться над *«La grande nation»*.

¹ *La grande nation* — великая нация.

Впрочем, это была единственная вылазка фальсбургцев в продолжение всей осады. Комендант Тальян, человек сметливый, вероятно, понял, что с такими неспособными офицерами и с солдатами, не знавшими военного дела, лучше оставаться за стенами крепости и не есть мяса.

В эти дни офицер, командовавший отрядом ландвера¹ в Вехеме, впервые посетил меня в сопровождении человек пятнадцати солдат.

Он пришел за реквизицией: за тремястами караваев хлеба и соразмерным количеством сена, соломы и овса.

Он прямо вошел на мельницу, крича:

— Гей! Здравствуйте, г. мэр.

Увидав штыки у дверей, я смутился.

— Я принес,—сказал поручик,—прокламацию его величества, прусского короля. Прочтите!

И я прочел следующее:

«Мы, Вильгельм, король Пруссии, объявляем жителям французской территории, что император Наполеон III, напав на суше и на море на немецкую нацию, которая желала и желает жить в мире с французским народом, вынудил нас принять начальство над нашей армией и перейти границы Франции; но я воюю с солдатами, а не с французскими гражданами, которые будут пользоваться совершенной безопасностью, личной и имущественной, пока сами враждебными действиями против немецких войск не вынудят меня лишить их моего покровительства».

¹ Ландвер — резервные войска в Германии.

— Эту прокламацию прибеите у ваших ворот,—сказал мне поручик,—...у мэрии и у церкви. Ну как? Это вас радует?

— Конечно,—отвечал я.

— В таком случае, мы друзья, — заметил он, — а друзья должны помогать друг другу. Ну, ребята, входите! — крикнул он своим солдатам, смеясь. — Здесь вы, как дома; вам не будет отказа ни в чем. Войдите!

И вот эти головорезы бесцеремонно вошли на мельницу, из мельницы перешли на кухню, из кухни в дом, а потом в погреб.

Моя жена и Гредель убежали.

Началось настоящее истребление моих съестных припасов. Все вынули из моей печи; открыли мою последнюю бочку вина; отворили мой шкаф, обшарили и обнюхали все. Я видел, как один из солдат выдернул свечку из подсвечника и сунул ее за сапог.

Вдруг заблеяли овцы.

— Эге! — закричал поручик: — бараны?.. Нам нужны бараны!

И солдаты пошли в конюшни за моими овцами.

Когда все было опустошено, этот офицер, этот храбрый немец, вручил мне реквизиционный список, говоря:

— Вот что нам надо! Вы мне доставите все это нынче же вечером в Вехем. Иначе мы будем вынуждены опять притти сами, вы понимаете, г. мэр? До свидания!

Он мне протянул руку в толстой перчатке. Я повернулся к нему спиной, он сделал вид, что не замечает, и вышел со своими молодцами, навьюченными, как мулы.

От меня они пошли к нескольким соседям:

к Жоржу, к патеру Даниэлю и другим и столько нахватили всевозможных вещей, что, наконец, потребовали телегу и двух лошадей, потому что сами уже не в силах были нести всю поживу.

По отъезде принцев, герцогов, баронов офицеры ландвера, квартировавшие в Вильшберге, в Катр-Ване, в Митльброне и в других соседних деревнях, считали себя повелителями нашей страны. Ежедневно приходили вести о новых проделках, совершенных ими над беззащитными жителями. У нас ходили слухи, что в Митльброне они даже расстреляли бедного идиота, который бегал босиком по лесам в продолжение десяти лет, не делая никому вреда; в Вальшберге они раздели догола бедного мальчика, который по несчастью подошел к их батареям, и офицер собственноручно избил его до крови; в Катр-Ване они вытащили из погреба двух бедных стариков, выставили на холод и дождь и продержали их так в продолжение двух дней и двух ночей, угрожая смертью, если они тронутся с места. Ландверцы забирали волов, баранов, сено, солому; они ломали мебель, выбивали стекла из окон, и это делали ежедневно без всякого к тому повода, из одного удовольствия все уничтожать.

У нас немцы слыли всегда за великих ученых, но я считаю долгом заявить, что в том ландвере, который квартировал у нас, я никогда не видывал ни офицера, ни солдата с книгою в руках. Жорж не без оснований говорил, что вся их наука заключается в солдатском ремесле: знание карт—для офицеров и дисциплина—для солдат. Ни о чем другом они не хотели и думать.

Молодые люди из немцев, занимающиеся торговлей, много путешествуют и обтесываются среди иностранцев. Немцы—отличные, дешевые работники, они никогда не ссорятся с своими хозяевами, но при первом призыве возвращаются во-свояси, чтобы стрелять по своим прежним товарищам и хозяевам в оплату за хлеб, который они ели в течение многих лет.

Чрезвычайно странные понятия высказывали наши постояльцы. Могло показаться, они не понимают, что у каждого человека есть честь, будь он сын дворянина, купца или рабочего—все равно. Они выражали мнение, что чем у человека меньше сознания чести, тем он лучший солдат; требуется только, чтоб он беспрекословно повиновался. В их армии действительно царствует удивительная дисциплина,—этого отрицать нельзя. Жорж говорил, что их главнокомандующим легче командовать ста тысячами человек, чем нашими десятью тысячами, и что для этого требуется гораздо меньше знаний. Еще бы! Надо только уметь направить машину, а машина, как известно, делает все беспрекословно: ум, рассудок, доброе сердце ей вовсе не нужны.

Продолжаю свой рассказ.

После прихода немецких войск наша несчастная страна была словно замуравлена и обречена молчанию; войскам, осаждающим Фальсбург, и тем отрядам, которые со снарядами, запасами и стадами еще проходили по нашей долине, было приказано хранить молчание, и это невольно возбуждало в нас ужас; мы не получали более ни газет, ни писем, ни малейшего известия из провинций. Когда ве-

тер дул с Рейна, мы слышали выстрелы немцев, бомбардировавших Страсбург. Там, в городе, все горело! Но так как никто не смел переходить с места на место в виду неприятельских постов, расставленных везде, то мы больше ничего не знали. Горе нас убивало! Все бросали работу. Зачем работать, когда самые трудолюбивые, самые отважные, самые расчетливые видели плоды своих трудов истребленными мародерами.

Многие начинали жалеть, что исполняли свой долг в отношении детей и отказывали себе во всем, чтоб в конце концов все отдать чужестранным пришельцам.

Вот список реквизиций, которые собирали даже с самой нищенской хижины, для каждого пруссака, помещенного в ней; по этому списку пусть судят о нашем разорении.

«Каждому человеку, квартирующему у вас, вы должны ежедневно доставлять: семьсот пятьдесят грамм хлеба, пятьсот грамм мяса, двести пятьдесят грамм кофе, шестьдесят грамм табаку или пять сигар, полкружки вина, или кружку пива, или рюмку водки, — кроме этого, на каждую лошадь двадцать фунтов овса, пять сена и два с половиною соломы».

Всякий скажет:

«Как могли несчастные крестьяне доставить все это? Это невозможно!»

Так нет же! Немцы сделали это возможным. И вот как: они обходили все фермы до последней, тащили из них солому, сено, все; в одном месте уводили скот; в другом забирали зерно; в третьем брали вино, водку, пиво; в четвертом собирали контрибуцию деньгами.

Каждый отдавал, что имел, так что к концу кампании мы остались нищими.

Да, нечего сказать, хорошо мы жили до войны; мы были богаты, не сознавая этого. Никогда я не поверил бы, что в нашей стране было такое множество сена и скота!

Представьте себе переживания моей жены и дочери при виде нашего разорения, ведь женщины еще более мужчин дорожат накопленным добром! К тому же моя жена думала о нашем сыне — Жакобе, а Гредель — о Жане-Батисте.

Жорж это знал и не раз старался получить какие-нибудь известия. Несколько тюркосов, избегнувших смерти при Форшвиллере, оставались в городе и ежедневно делали вылазки, чтобы пострелять в немцев. С другой стороны, так как нападение на город было неожиданным, то фальсбургцы не успели срубить деревья и снести заборы, лачужки и памятники на кладбище. Теперь эта работа началась. Жорж хотел добраться до выполнявших ее работников, но пройти через неприятельские посты было невозможно. Наконец он получил известие, но каким путем, стыдно сознаться! — через Мари Гопсалоп, женщину развратного поведения, которую немецкие часовые пропускали за известное вознаграждение.

Эта почтенная особа передала нам, что Жакоб здоров, и, вероятно, она принесла добрую весточку Гредель, потому что на следующий день дочь заговорила о своем приданом и хотела непременно знать, куда мы его спрятали. Я ей сказал, что оно закопано в лесу, под деревом. Гредель испугалась, не нашли бы его

пруссаки, которые шарили везде; у них были точные списки всего, что имелось в каждом доме; они, например, обшарили погреба, отыскивая старые вина, у Матиса и на лесопильном заводе и у Франца Сепеляв в Метинге. Ничто от них не ускользало, так как сведения им доставляли наши бывшие слуги-немцы, которые унесли с собою списки, где указывалось точно количество скота, сена, зерна, вина и всего, что находилось в каждом доме.

Итак, Гредель боялась за наш клад. Я ей сказал, что ходил на место, где он спрятан, и что вокруг земля не взрыта.

Но, успокоив ее, я сам скоро подвергся еще сильнейшему страху.

Однажды, в воскресенье вечером, человек тридцать пруссаков, под предводительством их знаменитого поручика, явились на мельницу и, стуча прикладами, потребовали вина и водки.

Я им подал ключи от погреба.

— Нет, не проведешь! — сказал поручик. — Вы в прошлый месяц получили тысячу шестьсот франков в Саверне, где они?

Я тотчас догадался, что меня предали: это было дело Пласиара или другого мошенника, так как доносы уже начались. Все те, которые впоследствии объявили, что они за немцев, уже занимались этим ремеслом.

— Да, это правда! Но я сам задолжал в Фальсбурге и уплатил долг; а остальные деньги отдал на сохранение нотариусу Финлодо.

— А где этот нотариус?

— В городе! Вам известны шестьдесят больших пушек, которые его охраняют.

Раздосадованный поручик стал шагать взад и вперед по комнате.

— Старая лиса, я вам не верю! — воскликнул он. — Вы где-нибудь спрятали ваши деньги. Вы должны доставить нам денежную контрибуцию.

— Я представлю, как все, мою контрибуцию на шесть человек. Вот мое сено, моя рожь, моя солома, моя мука; покуда есть — берите; когда более не будет, вы возьмете у других. Вы можете убивать людей, жечь города и селения, но вы не сможете брать деньги у тех, которые их не имеют.

Он на меня злобно посмотрел; один из солдат схватил меня за ворот, крича во все горло:

— Ты нам покажешь свой клад, старый плут!

Его товарищи повлекли меня вон из комнаты; моя жена прибежала, крича и рыдая, а Гредель, размахивая киркой, воскликнула:

— Бессовестные!.. У вас нет сердца!.. Черти!..

Она хотела на них броситься, но я ей закричал:

— Ступай прочь!

В ту же минуту я расстегнул жилет и сказал солдату, который напирал штыком мне в грудь:

— Ну, коли, мерзавец, скорей конец!

Вероятно выражение моего лица поразило всю шайку, так как поручик воскликнул:

— Ну, не троньте г. мэра; когда мы овладеем городом, то найдем его деньги у нотариуса. В путь, ребята, в путь!.. Пойдем далее искать поживы!.. Деньги нам необходимы, и

мы их добудем. До свидания, г. мэр, не сердитесь!

Он смеялся. Я же был бледен, как мертвец, и возвратился домой, дрожа всем телом.

У многих немцев сделались кровавые поносы от сильного обжорства. Они пожирали: мед, масло, сыр, незрелые фрукты, говядину, баранину — все без различия. В Перальсвере они пили уксус, принимая его за вино. Я не знаю, чем они питаются в своей стране, но жадность этих людей заставляет думать, что дома они живут на воде и картофеле.

Я не говорю о притеснениях, которые мы выносили от немцев; они, например, заставляли нас рубить деревья в лесу, распиливать на дрова и свозить в их лагерь; они угрожали поселянам заставить их рыть траншеи — и этим средством вынуждали целые селения спасаться бегством, а тогда ландвер, пользуясь отсутствием крестьян, грабил их незащищенные жилища; они дозволяли себе тысячи других постыдных действий, что приводило в отчаяние всех честных людей.

Немцы ничего не уважали, для них было удовольствием унижать душу человека в самых ее высоких, священных стремлениях.

Между тем разные слухи носились по стране. Однажды Жорж привез известие, что произошло большое сражение под Мецом и мы одержали победу; но что Наполеон, не зная, куда деться, только всем мешал, метался то направо, то налево, требуя себе конвоя в три и четыре тысячи человек; наконец его вовсе удалили из армии и отправили в Верден, так как он не смел вернуться в Па-

риж, где народное негодование против его династии росло с каждым днем все более и более.

— Теперь, — сказал Жорж, — бездарный, трусливый Базен стоит во главе нашей лучшей армии. Грустно, что судьба родины вверена этому человеку. Да, вот три молодца, способные понять друг друга: Бонапарт, Базен и Паликас. Все же станем надеяться, ведь надежда ничего не стоит.

Так мы дожили до конца августа, самого тяжелого месяца во всей нашей жизни.

Но 1 сентября, часов в десять вечера, когда все уже спали в селении, послышалась пальба из Фальсбурга; это гремели большие пушки с вильшбергского бастиона и с бастиона пехотной казармы; наши хижины дрожали. Все вскочили, зажгли огонь. При каждом выстреле наши окна дребезжали. Я вышел на улицу. Множество других поселян, мужчин и женщин, слушали и смотрели. Ночь была темная, и красное зарево, которое то и дело вспыхивало над двумя бастионами, освещало все окрестности. Тогда мною овладело непреоборимое любопытство. Я хотел знать, что происходит, и, несмотря на увещания моей жены, отправился с тремя или четырьмя соседями в Берлинген. По мере того как мы, осторожно продвигаясь среди кустарников, поднимались в гору, канонада становилась все оглушительнее; на вершине до нас стал доноситься говор и шум: жители Берлингена бежали в лес; две гранаты попали в селение; с этой-то возвышенности я увидел действие бомб и гранат, которые летели на нас, шипя и пытя, как паровозы, и с таким страш-

ным шумом, что мы бессознательно пятились назад.

В то же время послышался стук телег, скачущих из Катр-Вана по дороге в Вильшберг. Это, вероятно, был прусский обоз с продовольствием и военными снарядами, который фальсбургцы заметили издалека; хотя луна и не светила, но у молодых людей зрение хорошее.

На следующий день после этой сильной стрельбы в Фальсбурге мы узнали, что несколько телег было ограблено в окрестностях Берлингена. Тогда прусский майор объявил, что община ответственна за понесенные немцами убытки и что ей придется уплатить пятьсот франков, Увы! Где было их взять?

По счастью, берлингенский мэр успел обнаружить, что часовые, приставленные для надзора к обозу, сами все похитили, чтобы раздарить развратным женщинам, наводнявшим немецкий лагерь.

В первые дни сентября погода стояла прекрасная, и я никогда не забуду, что овес, ссыпавшийся с прусских обозов, пустил ростки, так что вдоль всего пути, по которому двигались немецкие обозы, тянулся зеленый след от Баварии до самого сердца Франции.

И за рассыпавшийся овес платили тоже мы, так как всегда должны были пополнять пропавшие или украденные предметы; пруссаки, конечно, слишком честны, чтобы утаить или украсть что-нибудь!

В это, сравнительно спокойное, время мы по ночам слушали бомбардировки Страсбурга.

После полуночи, когда все селение спало и всюду царствовало спокойствие, пушечные выстрелы следовали один за другим; на одну цитадель ежеминутно падало пять гранат и одна бомба. Иногда огонь усиливался; грохот был ужасный, и земля дрожала; раздавались глухие удары, словно они выходили из могилы.

И это продолжалось сорок два дня и сорок две ночи безостановочно. Новый храм, библиотеку, театр и сотни домов враг предал пламени; собор был весь пронизан выстрелами, и даже железный крест снесен ядром. Несчастные жители Страсбурга жадно устремили свои взоры на запад, но никто не шел к ним на помощь. Люди, рассказывавшие нам это впоследствии, не могли удержаться от слез.

О Меце мы ничего не знали; доходили до нас слухи о сражениях и стычках в Лотарингии, но эти слухи были недостоверны. Немцы попрежнему хранили молчание.

Однажды вечером они начали громко кричать «ура», по всей линии от Вехема до Бихельберга, от Бихельберга до Катр-Вана. Жорж и его жена прибежали к нам бледные, встревоженные:

— Ну, слышали вы депешу?

— Нет, что такое?

— Наполеон III сдался в Седане с восьмьюдесятью тысячами французов. С сотворения мира ничего подобного не случилось. Он вручил прусскому королю свою шпагу! Он более думал о своих фургонах, чем о чести своего имени, чем о чести Франции. Ах, изменник! Он обманул меня даже в этом отно-

шении: я считал его, по крайней мере, храбрым!

Так говорил Жорж; а мы, ни живы, ни мертвы, слушали радостные крики, раздававшиеся на улице.

Пруссаки отправили парламентаря в город. Новый ландвер, который с некоторых пор заменял у нас линейные полки и состоял из людей пожилых, серьезных отцов семейств, более преданных миру, чем славе, полагал, что все было кончено, что прусский король сдержит свое слово, не будет продолжать против нации войну, начатую против Бонапарта, и, следовательно, Фальсбург сдастся.

Но комендант Тальян отвечал парламентарю, что ворота Фальсбурга откроются только по получении письменного приказа французского императора, что хотя Наполеон и отдал свою шпагу, но Тальян не оставит своего поста.

Парламентарь возвратился, и радость ландвера немного утихла.

В это время я был свидетелем сцены, воспоминание о которой до сих пор меня радует.

Однажды я пошел в Саверн по фальсбургской дороге, позади немецких постов, в надежде узнать новости. К тому же мне там приходилось получать кое-какие деньги, надобность в которых ежедневно возрастала.

Около шести часов вечера я возвращался домой; погода стояла хорошая, я устроил мои дела успешно и вошел в кабачок в Тоизе выпить стакан вина. В небольшой комнате человек десять баварцев пили и спорили с таким же количеством пруссаков, сидевших

вокруг сосновых столов; они, вероятно, только-что возвратились с мародерства и, положив каски на окна, угощались, расположившись поодаль от офицеров.

Один баварец кричал:

— Нас, только нас одних, всегда суют вперед! Нам принадлежит слава победы при Верте; без нас вас побили бы!.. Мы же взяли императора и его армию. А вы только стоите позади и присваиваете себе славу и прибыль.

— Гм!—отвечал пруссак.—Что же вы-то стали бы делать без нас? Кто у вас генералы? Назовите хоть одного! Вы в авангарде, это правда, и подставляете свои лбы; но кто вами командует? Наследный принц прусский, наш старый генерал Мольтке и его величество король Вильгельм!.. Что ж вы болтаете про свои подвиги? Победы принадлежат начальникам; хотя бы вас изрубили всех до последнего, кому какое до этого дело? Разве архитектор обязан своей славой материалам, которые он употребляет при постройке? Разве заступы, кирки и лопаты орудия побед?

— Как заступы!—заревел баварец.—Разве вы нас принимаете за заступы?

— Да! —воскликнули пруссаки, дерзко ударяя по столу.

Тут полетели бутылки, кружки, стаканы, и я едва успел выбежать.

«Однако,—думал я, смеясь,—эти бедные баварцы правы: их бьют, а другие получают славу. Хитер Бисмарк, что сумел навязать им такую роль!»

Это происходило 8 или 10 сентября. Носились слухи, что в Париже провозгласили рес-

публику, что императрица, принцесса Матильда и все прочие бежали, что учреждено правительство национальной обороны и все французы от двадцати до сорока лет призваны под ружье. Но из всех событий, о каких шла молва, достоверны были только бомбардировки Страсбурга и битвы вокруг Меца. Чтобы быть справедливым, надо сказать, что многие тогда находили поведение Базена великолепным, и на него смотрели как на спасителя Франции. Полагали, что он сдерживает армии немцев и неожиданно, пробившись сквозь их ряды, освободит Туль, Фальсбург, Битч, Страсбург и уничтожит врагов.

Жорж говорил мне не раз:

— Наша очередь скоро придет! Всем надо будет идти в солдаты. Я уж обо всем подумал: все готово—ружье и патроны. Ты прикажешь ударить в набат, как только мы услышим пушечную пальбу у Саргемина и Фенетранжа; мы поставим немцев между двух огней.

Он мне говорил это, когда мы были одни, и я с радостью его слушал, но вообще следовало быть очень осторожными. Солдаты ландвера приходили к нам, садились подле печки и курили свои длинные фаянсовые трубки, поникнув головою, озабоченные. Так как некоторые понимали французский язык, не сознаваясь в этом, то мы остерегались говорить при них, и каждый хранил свои мысли про себя.

Всеми этими ландверами Бадена, Вюртемберга, Баварии командовали прусские офицеры: пруссаки поставляли офицеров, а другие

немцы — солдат; таким образом немцев учили повиновению истинным повелителям. Видимо, господь бог создал пруссаков, чтоб повелевать, а других немцев—чтобы повиноваться.

Да, все эти добрые солдаты ландвера так и останутся солдатами, они будут ими из поколения в поколение, и чем больше одержат побед, тем сильнее пруссаки будут их угнетать.

Благодаря этому немцы одержали победу, и теперь такой порядок должен быть закреплен навеки: ведь иначе многие из них, и в том числе эльзасцы и лотарингцы, захотят, пожалуй, взбунтоваться, а Франция сможет оправиться.

Одно немцев очень беспокоило: в Вогезах начинались волнения, поговаривали о вольных стрелках, о восстаниях деревень близ Эпиталя. Эти слухи, конечно, воскрешали наши надежды.

Солдаты ландвера объявляли вольных стрелков разбойниками, которые якобы убивают из-за угла честных отцов семейств и грабят обозы. Немцы собирались их вешать, а мы думали:

«Если б пришло к нам хотя бы несколько вольных стрелков с порохом и ружьями, то мы тут же присоединились бы к ним в надежде избавиться от своего ига».

Чем больше говорили о вольных стрелках, тем сильнее укреплялись в нас смелые надежды и тем невыносимее тяготили реквизиции.

Грабеж убавился, но все же еще продолжался. Когда наши ландверцы, то есть те, которых мы были принуждены содержать и кормить, ходили в траншеи вокруг Фальсбур-

га, то другие приходили из соседних селений целыми шайками, крича, ругаясь, требуя быков, баранов, ветчины! И, хорошенько запугав женщин, они довольствовались яйцами, сыром, луком и прочим.

Без сомнения, наши ландверцы поступали точно так же в других местах, потому что овощей в их супе всегда было в изобилии. И все эти добрые отцы семейств по-братски делили свою добычу с гнусными созданиями, с падшими женщинами, следовавшими за армией!

III

29 сентября прусский вагенмейстер принес мне для обнародования несколько прокламаций. В них объявлялось, что мы причислены к департаменту Мозеля и подчинены прусскому префекту графу Генкелю Доннемарку, который, с своей стороны, подчинен генерал-губернатору Эльзаса и Лотарингии графу Бисмарку-Болену, имевшему временную резиденцию в Гагенау.

Не могу выразить, как сильно меня раздражило такое приказание. Солдаты ландвера доставили нам накануне известие о капитуляции Страсбурга; я был измучен до крайности возложенным на меня сбором реквизиций, а потому смело объявил, что отказываюсь обнародовать прокламации, противные моей совести, так как я продолжаю считать себя французом, и нельзя требовать, чтобы честный патриот брал на себя такое поручение.

¹ *Вагенмейстер*—обозный, адъютант или фельдфебель, заведующий приемкою и отправкою корреспонденции казенной и отдельных лиц своей части.

Вагенмейстер, повидимому, удивился моим словам. Это был плотный мужчина с густыми черными усами и с глазами навывкат.

— Не угодно ли вам написать то, что вы сказали, г. мэр, — произнес он.

— Отчего же нет? Я измучен всеми вашими притеснениями. Назначьте на мое место вашего приятеля г. Пласиара: я вам буду очень благодарен. Пусть он собирает все реквизиции, которые я считаю просто грабежом.

— Хорошо, запишите и это, — сказал он. — Я исполняю данные мне приказания, до остального мне дела нет.

Тогда, не размышляя ни минуты, я открыл бюро и написал, что Христиану Веберу, мэру Ротальпа, совесть не позволяет признать Бисмарка-Болена губернатором французской провинции и что он положительно отказывается объявлять во всеобщее сведение немецкие прокламации. Я подписал мое имя и выставил число — 29 сентября 1870 года; это была величайшая глупость, какую я сделал в моей жизни; она дорого мне стоила.

Вагенмейстер взял от меня бумагу, положил в карман и вышел. Через два или три часа я немного одумался, начал раскаиваться в том, что сделал, и с удовольствием взял бы эту бумагу назад.

В тот же вечер, после ужина, я пошел к Жоржу, чтобы рассказать ему все, что случилось; он был очень доволен моим поступком.

— Отлично, Христиан, — сказал он. — Теперь твое положение ясно. Меня часто огорчало, что ты, охраняя общие интересы, желая избежать грабежа, был вынужден выдавать пруссакам записки на получение провианта.

Народ так безрассуден, что, видя подпись мэра, делает его ответственным за все. Теперь ты сложил с себя это бремя; ты не мог взять на себя сбор реквизиций от имени Генкеля Доннемарка, самозванца префекта Мозеля; пусть кто-нибудь другой возьмется за это: пруссаки всегда найдут изменника для такой роли.

Одобрение моего двоюродного брата утешило меня, и я хотел идти домой; но в эту минуту тот самый вагенмейстер, которому я вручил утром мой отказ, вошел в сопровождении трех или четырех солдат ландвера.

— Это к вам, — сказал он, подавая мне записку, которую я прочел вслух:

«Христиан Вебер, мельник, и Жорж Вебер, винный торговец, живущие в деревне Ротальп, обязываются доставить завтра в Друлинген четыре тысячи килограммов сена и десять тысяч килограммов соломы. По приказанию высшего начальства — *Флегель*».

— Хорошо, — отвечал я спокойно, не желая выказать перед врагами моего негодования: это была непомерно тяжелая реквизиция. — Очень хорошо, я доставлю сено и сому в Друлинген.

— Вы привезете их сами, — грубо сказал вагенмейстер. — Все лошади и все телеги в деревне уже были вытребованы для реквизиции, но вы слишком часто забывали про те, которые принадлежат вам.

— Я могу доказать, что мои лошади и мои телеги были чаще в работе, чем чьи-либо, — возразил я с возрастающим гневом. — Вот ваши расписки; я надеюсь, что вы от них не откажетесь.

— Хорошо, это все равно, — отвечал он. — Лошади, телеги, сено и солома должны быть доставлены; это ясно?

— Вполне, — заметил Жорж. — Кто сильнее, тот и приказывает.

— Совершенно верно, — сказал вагенмейстер.

Когда он вышел со своими солдатами, Жорж спокойно сказал:

— Вот что значит война! Ничего не поделаешь. Но, может быть, скоро наступит и наш черед приказывать. А пока, если мы не желаем лишиться наших лошадей и телег, то всего лучше приготовить требуемое сегодня вечером, а завтра рано утром отправиться в путь. Мы воротимся к семи часам, к ужину. От нас больше сена и соломы не получают, так как мы отдадим последнее.

Я едва сдерживал гнев; но так как Жорж, подавая мне пример, стал снимать сюртук и надевать блузу, то и я пошел будить моего батрака — старика Офрана, чтобы вместе нагрузить телеги.

Жена моя и Гредель ждали меня у дверей, потому что вагенмейстер с солдатами, идя к Жоржу, заходил на мельницу; они дрожали от страха. Я сказал им, чтоб они не беспокоились, так как мне надо было только свезти сено и солому в Друлинген, где мне выдадут квитанцию, по которой я впоследствии получу деньги.

Поверили они этому или нет — я не знаю, но все же успокоенные вошли в дом.

Я зажег фонарь. Офран влез на сеновал и стал бросать сено, которое я принимал на вилы.

К двум часам утра телеги были нагружены; я дал корму лошадям и прилег отдохнуть.

В пять часов я услышал голос Жоржа: «Христиан, я здесь!»

Я встал, надел шляпу и блузу, отпер конюшню, заложил лошадей, и мы отправились в путь, надеясь, что вечером вернемся домой.

Во всех селениях, через которые мы проезжали, перед хижинами сидели солдаты ландвера, оборванные, с заплатами на коленях, с растрепанными бородами, и курили трубки.

Солдатам, которые оставались в деревнях держать гарнизон, приказано было отдавать другим новые сапоги, а самим носить старые.

Офицеры верхом, в низеньких, плоских фуражках, надвинутых на нос, мчались, как ветер, по тропинкам, пролежавшим подле большой дороги. На задних дворах старых гостиниц, встречавшихся по пути, виднелись навозные кучи с внутренностями и шкурами животных; шкуры также висели на решетках галлерей, где обыкновенно развешивали белье для просушки. Горе, невыразимое горе и беспокойный страх читались на лицах всех жителей.

Зато немцы, несмотря на свои изорванные сапоги, лоснились от жиру и довольства: у них был хороший белый хлеб, хорошее красное вино, хорошее мясо и хороший табак или сигары; они катались, как сыр в масле.

Мы с Жоржем решили сохранять наружное спокойствие, хотя видели на каждом шагу следы опустошения, еще усилившегося в последнее время из-за падежа скота. В Лоре, в Отвиллере и во многих других местах начинала распространяться эта страшная эпидемия, пагубная для крестьян, и пруссаки, которые

едят мяса вчетверо более нас—ведь оно достаётся им даром, — уже опасались, что скоро почувствуют в нем недостаток.

Часов в одиннадцать мы были в Друлингене, где нашли силезский батальон, готовый выступить к Мецу. Повидимому, вслед за нами должна была прибыть кавалерия. Реквизиции так истощили запасы в этой местности, что наше сено и солома пришлось как нельзя более кстати, их немедленно сложили в сарай, находившийся на конце деревни, и майор дал нам квитанцию. Это был пруссак с седой бородой; он рассматривал нас, нахмутив брови, точно старый жандарм, изучающий ваши приметы.

Жорж и я думали немедленно возвратиться домой, но, посмотрев в окно, мы увидели, что на наши телеги укладывают багаж батальона. Я вышел и закричал:

— Стой! Эти телеги наши! Мы привезли на них сено и солому.

Стоявший у дверей начальник силезского батальона, человек дюжий, суровый и с виду нелюбезный, тотчас повернулся и спокойно приказал солдатам, оставившим работу:

— Продолжайте.

— Но, капитан, — воскликнул я, — вот моя квитанция, полученная от майора!

— Это меня не касается, — отвечал он, входя в столовую, где накрыт был стол для офицеров.

Мы остались на улице, полные негодования, которому вы легко поверите. Солдаты смеялись. Я едва не бросился на них с хлыстом; но несколько часовых, расхаживавших взад и вперед с ружьями, конечно, закололи бы меня

штыками. Я побледнел, отвернулся и пошел в трактир Финка, куда Жорж отправился уже прежде меня. Маленькая зала была полна солдат, которые ели и пили, как могут есть и пить только одни пруссаки.

Эта картина заставила нас выйти вон; тогда Жорж, стоя у двери, сказал мне:

— Наши жены будут беспокоиться; не послать ли к ним кого-нибудь с весточкой о нас?

Но все наши поиски были напрасны: мы никого не нашли.

Офицерские кони, спокойно жевали сено, между тем как наши измученные лошади оставались без корма.

— Эй! — закричал я фельдфебелю, который распорядился нагрузкой телег, — надеюсь, что вы не уедете, не покормив наших лошадей?

— Если у вас есть деньги, — сказал он, смеясь, — то вы можете дать им сена и даже овса, сколько хотите. Вот перед вами вывеска: «Здесь продаются сено и овес».

В эту минуту во мне закипела такая ненависть к немцам, которую я не в состоянии буду заглушить во всю мою жизнь.

— Пойдем, — закричал Жорж и, заметив, что я сильно взволнован, взял меня за руку.

Мы вошли в гостиницу «Гнедой конь», которая также кишела народом, но была шире и выше. Мы дали корму нашим лошадям; потом, усевшись поодаль, съели по куску хлеба и выпили по стакану вина, наблюдая в окно за движением войск. Затем я отправился поить наших лошадей.

Жорж подозвал к себе маленького разносчика Фраделя, проходившего мимо со своей

корзинкой, и просил его уведомить наших жен, что мы не воротимся домой до завтрашнего утра, потому что должны продолжать путь до Саррегемина. Фридель обещал исполнить наше поручение.

В эту минуту раздалась команда офицера; батальон готов был выступить. Мы едва успели расплатиться и схватить под уздцы наших лошадей.

Погода стояла прекрасная, осенняя; было не слишком жарко, не слишком холодно.

Сравнивая впоследствии немцев с нашими солдатами в отношении ходьбы, я часто думал, что они никогда не дошли бы до Парижа, если б не наши железные дороги. Их пехота тяжела на подъем. Они все косолапые и не могут много ходить. Когда они бегут, их тяжелые сапоги производят ужасный шум; может быть, поэтому они их и носят, надеясь запугать неприятеля. У них один взвод производит больше шума, чем у нас целый полк.

К вечеру, часам к пяти, лишь только мы прошли около трех миль от Друлингена, как вдруг командир приказал батальону свернуть налево, на проселочную дорогу, для того ли, чтоб избежать разоренных селений, или по какой другой причине—не могу сказать.

Видя это, я в величайшем беспокойстве подбежал к командиру.

—Ради бога, капитан,—сказал я,—разве вы не хотите идти в Саррегемины? Мы — отцы семейств; у нас есть жены и дети! Вы обещали, что в Саррегемины нам дозволят выгрузить наши телеги и воротиться домой.

Жорж также шел жаловаться; но прежде

чем он успел подойти к нам, командир грозно закричал:

— Возвращайтесь к вашим телегам, или я расправлюсь с вами на основании военных законов! Ну, поворачивайтесь!

Мы с пеникшими головами вернулись назад и взяли за поводья наших лошадей. Три часа спустя, при наступлении ночи, мы пришли в бедную деревушку, где увидели множество маленьких крестов вдоль дороги и где жители не могли ничего нам дать, так как сами страдали от голода.

Не успели мы остановиться, как подошел сопровождаемый гусарами обоз с хлебом, говядиной и вином. Без сомнения, он шел из Альберстрофа. Каждый солдат получил свою порцию, но нам не досталось даже луковицы или кусочка хлеба, ничего, ни нам, ни лошадям.

Эту ночь Жорж и я провели под кровом необитаемой, покинутой мельницы, в то время, как немцы заняли все дома и овины. Часовые с ружьями ходили вокруг наших телег. Видя это, мы начали размышлять о том, что нам делать.

Жорж, предчувствуя страдания, которые нас ожидали в будущем, хотел отправиться тотчас домой, оставя лошадей и телеги; но я не мог согласиться на это. Покинуть пару моих серых коней, которых я выкормил и вырастил в моем собственном огороде позади мельницы — это невозможно!

— Послушай, — сказал Жорж: — вспомни об эльзасцах, которые проходили мимо нашего селения в течение последних двух недель: они точно вышли из могил; они никогда не

получали ни малейшего рациона. Их довели бы до Парижа, если б они не убежали. Ты видишь, что немцы не хотят ничего знать. Ими овладела ненависть к французам, и они бесчувственны, как железо; их еще в школах старались восстановить против нас, и они желали бы истребить нас всех до последнего. Всего благоразумнее от них ничего не ждать. У меня в кармане только шесть франков; а у тебя сколько?

— Восемь ливров и десять су.

— С этим, Христиан, мы далеко не уйдем. Чем ближе к Мецу, тем страна будет более разорена. Если б мы могли написать домой с просьбой, чтоб нам прислали денег! Но ты видишь, их часовые стоят на каждой дороге, на каждом перекрестке: они не позволяют проходить пешеходам, не позволяют переносить письма и известия. Поверь мне, лучше всего бежать.

Все эти прекрасные доводы были бесполезны. Я думал, что, может быть, в следующей деревне найдутся для реквизиции другие лошади и другие телеги, и нам позволят спокойно воротиться домой. Это было бы естественно и справедливо.

Жорж, видя, что не может поколебать моей решимости, лег на скамью и заснул; но я не сомкнул глаз.

На следующий день в шесть часов мы должны были снова пуститься в путь: силезцы с запасом свежих сил, а мы с пустыми желудками.

Мы шли по направлению к Грос-Тенкину. Чем далее мы подвигались, тем незнакомее становилась местность. Это была страна, ок-

ружающая Мец и известная под названием Мессина,—древний французский округ. Страдания наши увеличивались с каждым переходом. Немцы продолжали получать все, что им требовалось, а в отношении нас они заботились только об одном — чтобы мы не ушли.

Положение наше было ужасно, деньги, несмотря на всю нашу бережливость, приходили к концу, кроме того, офицер, догадываясь, что мы замышляем бегство, не церемонясь сказал при нас часовым:

— Если эти люди свернут с дороги, стреляйте в них.

Среди эскадронов и полков, которые беспрестанно попадались нам по пути, мы видели много людей, находившихся точно в таком же положении, как мы. Мы не могли смотреть друг на друга без слез.

Жорж не падал духом и даже по временам казался веселым, обращаясь к солдатам с просьбой дать ему огня, чтоб закурить трубку, или распевая матросские песни. Прусские офицеры говорили: «вот это настоящий француз: он все видит в розовом свете».

Я не мог понять такого настроения и спрашивал себя, не рехнулся ли Жорж? Но еще более меня огорчало положение моих прекрасных лошадей, гладкошерстных, умных, неутомимых, лучших в деревне, — что с ними теперь стало? Просто жалость!.. Проходя вдоль изгородей по краям дороги, я иногда собирал для них немного травы; сначала они смотрели на нее с удивлением, а потом, встряхнув головой, жадно жевали. Бедные животные на глазах тощали и чахли,

Я думал о жене моей и о Гредель, об их беспокойстве, о том, что они делают, что будет с мельницей и с нашей деревней, что станут говорить, когда узнают, что мэр пропал, что подумает об этом Жакоб, — все эти мысли терзали меня, и я совершенно упал духом.

Но самое страшное унижение, которого я никогда не забуду, ждало меня вблизи Меца. В течение двух или трех недель не происходило более сражений: город и армия Базена были окружены огромными земляными окопами, на которых пруссаки поставили пушки. Мы могли видеть их издали; мы также проходили мимо многих мест, где земля была недавно вскопана, и Жорж говорил, что это ямы, в которых сотнями сложены убитые. Несколько обгорелых и пострадавших от бомбардировок деревень, ферм и замков виднелись неподалеку. Сражаться перестали, но ходили слухи о приближении вольных стрелков, и это, повидимому, беспокоило силезцев.

Наконец, на десятый день после выступления из Ротальпа, мы прибыли в большую деревню на Мозеле; здесь батальон остановился для отдыха. Несколько отрядов из нашего батальона уже пополнили убыли в других батальонах, так что у нас осталась только третья часть людей, выступивших из Друлингена.

Однажды, видя, что провиант был уже роздан, что офицерские лошади накормлены и что их начинали уже взнуздывать, я подобрал несколько пригоршней сена и соломы, валявшихся на земле, собираясь дать их моим лошадям. Заметив это, дежурный унтер-офи-

цер подошел ко мне, схватил меня за шиворот и ударил.

— Ах ты, старый негодяй! Так-то ты кормишь твоих лошадей!—вскричал он.

Я был вне себя от гнева и уже поднял мой хлыст, чтоб ударить обидчика, как вдруг Жорж бросился ко мне и закричал:

— Христиан! Что ты делаешь?

Он вырвал у меня хлыст и начал извиняться за меня перед пруссаком, говоря, что я поступил сгоряча, что я считал дозволенным собирать валявшееся сено, что нужно принять в соображение голод лошадей, следовавших все время за батальоном, и прочее.

Пруссак выслушал его.

— Хорошо,—сказал он,—на этот раз я ему спущу; но если он повторит свои штуки, то ему будет плохо.

Я пошел в конюшню и пролежал, не шевелясь, там несколько часов.

Батальон должен был снова выступить в поход. Жорж повсюду искал меня и наконец нашел. Я встал и вышел, но когда увидел солдат, выстроившихся в линию, когда увидел их ружья и каски, то мороз пробежал по коже; мне захотелось умереть.

Жорж не говорил ни слова, и мы двинулись вперед; но с этой минуты я решил бежать во что бы то ни стало, бросив лошадей и телеги.

В тот же вечер случилось необыкновенное происшествие: нам дали немного соломы! Мы лежали на открытом воздухе, под нашими телегами, потому что деревня, в которую мы только что прибыли, была набита солдатами. У меня оставалось только двенадцать су, а

у Жоржа двадцать или тридцать. Он купил немного хлеба и водки, в которой мы намочили хлеб; таким образом мы кое-как поддерживали в себе жизненные силы.

Каждый раз, как унтер-офицер, прибывший меня, проходил мимо, я судорожно хватался за нож, бывший у меня в кармане, и говорил сам себе: «Неужели эльзасец, старый эльзасец, не отомстит за оскорбление? Можно ли допустить, чтоб эльзасцев били те самые немцы, которых мы колотили сотню раз в былое время и которые обыкновенно бегали от нас, как зайцы».

Жорж, догадываясь по выражению моего лица о том, что я думал, как-то сказал мне:

— Послушай, Христиан! Не огорчайся, немцы несколько не виноваты! Они грубы и пользуются всяким удобным случаем бить других,—это совершенная правда, но что же делать? По грубости их нравов, побои не производят на них того же действия, как на нас; они действуют на них только наружно, но не более! Итак, не унывай; этот дикий унтер-офицер, может быть, и не думал, что он наносит тебе тяжкое оскорбление, и по своей чувствительности судил о твоей.

Мы все надеялись, что когда-нибудь дойдем до железной дороги, что остатки батальона сядут в вагоны, а нас отошлют домой, но, к несчастью, наши солдаты были назначены для того, чтобы пополнять убыль в других батальонах, и хотя отряды посылались направо и налево, но всегда оставалось довольно солдат, чтоб сторожить нас и помешать нашему бегству.

Мы ни разу не меняли белья в течение двух недель; ни разу не снимали обуви, потому что знали, что трудно будет ее снова надеть; десятки раз мы были промочены дождем и высушены солнцем; мы выносили голод и всевозможные страдания; но ни Жорж, ни я не страдали кровавым поносом, как немцы; самая скудная пища поддерживала наши силы; но ветчина, свежая говядина, фрукты, сырые овощи пожирались немцами без всякого разбора и производили на них страшное действие: никакой опыт не мог научить их быть благоразумнее; их природная жадность не позволяла им быть осторожными.

В довершение наших бедствий, офицеры батальона стали поговаривать о походе на Париж.

Один из лотарингских трактирщиков, рассказал нам, что Гамбетта поднялся из Парижа на воздушном шаре, что он находится теперь в Туре вместе с Гле-Бизуэном и многими другими для того, чтобы собрать могущественную армию за Луарой. В этих местах получались бельгийские газеты, и каждый раз, когда до нас доходила хорошая весть, мы приободрялись. Мимо нас провозили множество провианта и запасов; проходили огромные стада баранов и быков; везли ящики с колбасами, бочонки с хлебом, вином и мукою, иногда проходили и полки. Поезда, направлявшиеся к востоку, везли массы раненых, которые лежали в вагонах на матрасах, расположенных горизонтально одни над другими; у каждого окна видны были их бледные лица, искавшие свежего воздуха и прохлады. Их сопровождали немецкие доктора с красными

крестами на рукаве; а в каждой деревне были устроены лазареты.

Начались сильные дожди и первые морозы. Носились тысячи слухов о больших битвах под стенами Парижа. Пруссаки были особенно сердиты на Гамбетту: «Этот разбойник Гамбетта», как они его называли, мешал им заключить мир и снова посадить Бонапарта на французский престол. Никогда не случилось мне видеть людей, которые бы так бесились и ругали противника за то, что он не хочет сдаться в плен. Немцы — офицеры и солдаты — только и говорили:

— Этот Гамбетта причина всех бедствий. Его вольные стрелки достойны виселицы. Без него мир был бы заключен. Мы уже получили бы Эльзас и Лотарингию, а Наполеон, во главе мецкой армии, был бы теперь на пути к Парижу для восстановления порядка.

Каждый раз, как проходил поезд с ранеными, негодование немцев увеличивалось. Они находили совершенно естественным истреблять наши жилища, разорять страну, расстреливать нас; но с нашей стороны было низостью защищаться! Трудно представить себе большее лицемерие. Разве сами они верили тому, что говорили? Немцам нужно было нас убедить, что мы защищали дурное дело; но какое же дело могло быть более священным и более славным, чем защита отечества?

Нет, каждый француз, от старого до малого, — и в особенности женщины, — молились за успех Гамбетты, и не одна слеза пролилась от восторга при мысли, что он, быть может, спасет нас. Толпы молодых людей покидали семейства, чтоб присоединиться к нему; тогда

немцы накладывали на их родственников контрибуцию в пятьдесят франков за каждый день. Они разоряли их; однакоже это не мешало другим поступать так же.

Немцы грозили казнию всякому, кто помогал этому, как они называли, бегству волонтеров, давая деньги, служа проводниками, или каким бы то ни было другим способом.

Все средства были для немцев хороши, лишь бы только заставить нас покориться; но они очень неохотно прибегали к оружию, потому что в сражениях им приходилось терять людей.

Мы провели три дня в деревне Жамец, на дороге к Монмеди. Это было в конце октября: дождь лил, не переставая. Жоржа и меня приняла к себе одна старая женщина, высокая, худая; звали ее Марианной; сын ее служил в Меце. У старухи был маленький домик с чердаком, на который взбирались по лестнице, а позади дома небольшой сад, совершенно разоренный. Несколько пучков луку, немного гороху и бобов — вот все, чем она обладала. Она ничего не припрятывала, но когда немцы приходили к ней за чем-нибудь, она притворялась глухой и не отвечала. Ее нищета, разбитые окна, полуразвалившиеся стены и маленький, настежь открытый шкаф скоро убедили солдат, что здесь они ничего не найдут.

Эта бедная женщина заметила, в каком мы печальном положении; она пригласила нас войти, расспросила, откуда мы, и внимательно выслушала рассказ о наших несчастиях. Она сказала нам, что у нее осталось на чердаке несколько охапок сена и что мы можем

взять их, потому что они ей не нужны, так как немцы съели ее корову.

Мы влезли на чердак, чтоб провести там ночь, и втащили за собою лестницу, прислушиваясь к дождю, который барабанил по черепицам. У Жоржа оставалось только десять су, а у меня ничего.

Третью ночь уже ночевали мы на чердаке, как вдруг около двух часов раздался звук трубы. Что-нибудь случилось: верно, пришло новое распоряжение.

Мы прислушивались, затаив дыхание. Слышна была беготня; ружейные приклады звенели о мостовую; солдаты собирались в путь, и отовсюду неслись крики:

— Возницы! Возницы! Где они?

— Отыскать их! — кричал командир.— Расстрелять этих бродяг!

Мы не шевелились.

Вдруг дверь внизу отворилась. Немцы спросили по-немецки и по-французски: «Где возницы, наши альзасские возницы?»

Старуха не отвечала ни слова; она только покачала головой и казалась глухою, как столб. Солдаты выбежали вон. Они, кажется, заметили отверстие, служащее входом на чердак, но, верно, не имели времени отыскивать лестницу; как бы то ни было, через минуту мы услышали шаги людей, идущих по грязи, шелканье бичей и стук колес.

Вскоре все замолкло. Батальон ушел.

Только спустя полчаса добрая старушка стала звать нас.

— Вы можете сойти, — говорила она, — они ушли.

И мы спустились вниз.

Бедная женщина сказала нам, смеясь от всего сердца:

— Теперь вы в безопасности! Только не теряйте времени; может притти приказание отыскать вас. Но прежде покушайте.

Она достала полную миску супа из бобов, который она обыкновенно варила на три или на четыре дня и потом разогревала.

— Ешьте все; не заботьтесь обо мне! У меня еще остались бобы.

Упрашивать нас было излишне: через несколько минут миска опустела.

Добрая женщина, казалось, была этим очень довольна, а Жорж сказал ей:

— Мы так не ели уже целую неделю.

— Тем лучше! Я очень рада, что могла услужить вам! А теперь ступайте! Я дала бы вам с радостью денег, но у меня их нет.

— Вы спасли нам жизнь, — сказал я. — Молю бога, чтоб вы могли вскоре увидеть вашего сына! Но у меня к вам просьба.

— Какая?

— Позвольте поцеловать вас.

— Ах, с большим удовольствием, мой бедный эльзасец, от всего сердца! Теперь я некрасива, не то, что прежде, в былое время, но это все равно.

И мы поцеловали ее, как поцеловали бы родную мать.

Когда мы вышли за ворота, начинало светать.

— Перед вами лежит дорога в Дюн-на-Масе, — сказала она, — но не ходите туда; это дорога, по которой пошли немцы; нет сомне-

ния, что их командир дал в ближней деревне приказание задержать вас. Но вот дорога в Мец через Дамвилье и Этан, — идите по ней. Если вас остановят, скажите, что ваши лошади пали от изнеможения и вас отпустили.

У этой бедной старушки было много здравого смысла. Мы пожали еще раз ее руку со слезами на глазах и отправились в путь по той дороге, которую она нам указала.

Мне было бы очень трудно назвать все деревни, через какие мы проходили от Жамеца и до Ротальпа. Вся страна между Мецом, Монмеди и Верденом кишела немцами, кавалерией и пехотой. Линейные войска и в особенности артиллерия стояли ближе к крепостям; остальные войска и массы ландвера занимали все селения и собирали повсюду реквизиции.

Находясь в маленькой деревне между Жамецом и Дамвилье, мы услышали направо от нас сильную ружейную пальбу. Жорж сказал мне:

— Это наш батальон сражается. Я желаю только, чтоб пуля пронзила храброго командира, который хотел расстрелять нас, а также и твоего унтер-офицера.

Деревенские жители, стоя у ворот, говорили: «Это вольные стрелки». Радость осветила все лица, особенно, когда какой-то старик прибежал по тропинке, ведущей через кладбище, крича: «Едут две телеги с ранеными, — две большие эльзасские телеги; их сопровождают гусары!»

Мы только что остановились у мелочной лавочки на площади и расспрашивали хозяй-

ку, нет ли вблизи часовщика, потому что Жорж хотел продать свои часы, которые он скрывал под рубашкой с тех пор, как мы оставили Друлинген, а хозяйка, сходя с лестницы, указывала нам, куда идти, — как вдруг старик стал кричать: «Вот едут эльзасские телеги!»

Немедленно мы бросились бежать к другому концу деревни; но подле маленькой речки, название которой не могу припомнить, мы увидели из-за группы подстриженных ив блеск касок; это заставило нас повернуть вдоль речки, которая разлилась от больших дождей. Таким образом мы прошли значительное расстояние, идя иногда в воде по колена.

Прошло полчаса, и, выбравшись из камышей, мы завидели налево от нас на холме колокольню другого селения, как вдруг были остановлены криком: «Кто идет?», раздавшимся из покинутой хижины, находившейся в двух или трех шагах от деревни. В ту же минуту солдат ландвера вышел из пустой хижины с ружьем, наведенным на нас.

Жорж, не находя другого средства для спасения, отвечал:

— Добрый друг!

— Стой, — вскричал немец, — не шевелитесь, или я выстрелю.

Мы, конечно, остановились, и только через десять минут пришел пикет из деревни для смены часового и повел нас, как бродяг, к дому мэра. Там капитан ландвера подробно расспрашивал нас о том, кто мы, откуда пришли, куда идем и почему не имеем паспортов?

Мы повторяли, что лошади наши пали от чрезмерной работы и что нам велено воротиться домой, но он не хотел этому верить. А когда Жорж стал просить у него денег для того, чтоб мы могли продолжать наше путешествие, он воскликнул:

— Убирайтесь к чорту, каналы! Разве я обязан снабжать вас провиантом и рационами! Ступайте и не заходите сюда другой раз, а то будет худо!

Мы вышли очень довольные.

Сойдя с лестницы, Жорж стал размышлять, не пойти ли опять наверх и попросить, чтоб нам дали паспорта; но я так боялся, чтобы капитан не изменил своего намерения, что принудил Жоржа уйти поскорее из этого селения. Мы отправились в путь и без всяких приключений достигли Этена. Здесь Жорж продал свои золотые часы и цепочку за шестьдесят пять франков, взяв, впрочем, с часовщика обещание, что если возвратит ему эти деньги к концу месяца, то получит обратно и часы и цепочку. Затем, взяв меня за руку, Жорж воскликнул:

— Ну, Христиан, пойдём; мы долго постились, надо и попировать.

Пройдя сотню шагов, мы вошли в одну из тех маленьких гостиниц, в которых можно получить ночлег за несколько су.

Люди, сидевшие в небольшой темной комнате гостиницы, не походили на господ; они были в шляпах, надетых набекрень, и с расстегнутыми рубашками; все пили вино; но, видя нашу изорванную одежду, грязное белье, которое мы не меняли уже три недели, наши растрепанные бороды, засаленные, скомкан-

ные шляпы, полинявшие от дождя и солнца, они приняли нас за вожakov медведей.

Хозяйка, толстая женщина, спросила нас, чего мы желаем.

— Дайте нам самого лучшего супу, хороший кусок говядины, бутылку хорошего вина и хлеба вволю, — сказал Жорж.

Толстая женщина смотрела на нас, прищурив глаза и не двигаясь с места, как будто желая сказать: «Все есть самое лучшее! Но кто же будет платить?»

Жорж показал ей пятифранковую монету, и она тотчас ответила, улыбаясь:

— Господа, сейчас все будет подано.

Вокруг нас стали говорить: «Они эльзасцы! Они немцы! Они то, они это!»

Но мы ни на кого не обращали внимания; мы уселись, положив локти на стол, а когда появился суп в огромной миске, то нельзя было не заметить, что у нас был очень хороший аппетит; что же касается до куска говядины, то это был настоящий «пруссский» кусок, но он исчез в одно мгновение, несмотря на то, что весил два фунта, был окружен картофелем и другими овощами. Потом, едва опорожнилась первая бутылка вина, Жорж потребовал другую; наши глаза начинали лучше видеть; нам все представлялось в другом свете.

Один из присутствующих попробовал повторить, что мы — немцы, Жорж заорал:

— Кто говорит, что мы немцы? Выходи, если не боишься... Мы — немцы?

Он поднял бутылку и разбил ее о стол в мелкие куски. Я видел, что он вышел из себя, и крикнул:

— Жорж, ради бога, перестань: иначе нас арестуют!

Но все присутствующие были одного мнения с обидчиком.

— Это мерзко, — воскликнул Жорж, — пусть тот, кто сказал, что мы — немцы, выйдет вперед, мы с ним посчитаемся: пусть он выбирает саблю, шпагу или что захочет; мне все равно.

Тогда один из разговаривавших, молодой человек, встал и произнес:

— Простите меня, я прошу извинения; я думал...

— Вы не имели права так думать, — перебил Жорж, — таких вещей не должно говорить. Мы — эльзасцы, настоящие французы, люди пожилые; сын моего товарища в Фальсбурге, в мобелях; а я сам служил во флоте. Немцы схватили нас и увели силой, мы лишились наших лошадей и наших телег и теперь, придя сюда, выслушиваем оскорбления от наших же соотечественников за то, что мы сказали несколько слов по-эльзасски; разве бретонцы не говорят между собой по-бретонски, а жители Прованса — по-провансальски?

— Я прошу у вас извинения, — повторил молодой человек. — Я был неправ, я сознаю это. Вы — хорошие французы.

— Я извиняю вас, — сказал Жорж, смотря на него пристально, — но сколько вам лет?

— Восемнадцать.

— Хорошо, идите же туда, где ваше место, и докажите, что вы такой же хороший француз, как и мы. В Эльзасе вы не найдете ни одного молодого человека. Вы понимаете, что я хочу сказать?

Все слушали с вниманием. Молодой человек молча вышел, но когда Жорж спросил еще бутылку, то хозяйка шепнула ему:

— Вы хорошие французы, но вы говорили при посторонних людях, которых я совсем не знаю. Лучше уходите.

Жорж тотчас пришел в себя; он положил на стол пятифранковую монету, хозяйка дала ему два франка и пятьдесят сантимов сдачи, и мы вышли.

— Пойдем скорее, — сказал Жорж. — Гнев может отнять у человека рассудок.

И мы пошли по маленькой улице, потом по другой, пока не очутились в открытом поле. Ночь приближалась; если б мы снова попались в руки немцам, то нам было бы хуже прежнего, и потому в эту ночь и на следующий день мы не решались даже входить в селения из страха быть схваченными и отосланными в наш батальон.

Наконец вечером второго дня усталость заставила нас забраться в чей-то огород. По времени года было очень холодно, но мы так привыкли к лишениям, что уснули у забора на рогоже, как в доброй постели; вставши утром с зарей, мы заметили, что покрыты инеем.

Жорж, взглядываясь вдаль спросил:

— Христиан, узнаешь ли ты эту местность?

Я осмотрелся вокруг.

— Да это Шато-Салинь, — отвечал я.

Теперь нам нечего было более опасаться. В Шато-Салине жил наш старый родственник Дежарден, первый красильщик во всей про-

винции. Мой дед и дед Дежардена женились перед первой революцией на двух родных сестрах. Хотя Дежарден был лютеранин и даже кальвинист, а мы — католики, но, несмотря на это, мы любили друг друга, как близкие родные.

IV

Мы оставались у Дежардена целый день. Жена его отдала вымыть наше белье и платье, а также высушила на плите наши башмаки, наполнив их золой; на следующее утро мы простились с добрыми родственниками и от души поблагодарили их.

Мы нетерпеливо жаждали возвратиться домой; мы не имели никаких известий оттуда уже целый месяц и очень беспокоились о наших женах, которые, вероятно, считали нас погибшими.

Погода была сырая, и легко предугадывалось, что зима будет стоять суровая.

В шесть часов вечера мы прибыли на Мятингскую возвышенность близ фермы Дана и увидали на сером горизонте в двух милях от нас Фальсбург с его валами, церковью и сожженными домами, а также земляные укрепления, за которыми укрывались немцы со своими пушками.

Повсюду царила тишина; не слышно было ни одного выстрела. Это была блокада. Голод тихо, безмолвно производил то, чего не смогла произвести шумная бомбардировка.

Тогда, поникнув головой, мы прошли через лес, усеянный сухими листьями, и, наконец,

увидали перед собою за огородами и полями наш родной Ротальп. Он также казался мертвым; реквизиции его совершенно разорили, а зима покрыла белым саваном.

Мельница работала, и это меня очень удивило.

Мы с Жоржем молча пожали друг другу руки и каждый поспешил домой.

Прусские солдаты выгружали перед моим сараем воз пшеницы, и я с ужасом подумал:

«Неужели эти злодеи прогнали мою жену и дочь?»

По счастью, в эту минуту Катерина выбежала из дверей и, протягивая ко мне руки, воскликнула:

— Это ты, Христиан? Господи! Сколько мы без тебя выстрадали!

И она бросилась ко мне на шею, заливаясь слезами. Потом прибежала Гредель, и мы долго оставались в объятиях друг друга.

Окружавшие нас пруссаки молча смотрели на эту трогательную сцену, некоторые из наших соседей твердили:

— Наш старый мэр возвратился!

Мы вошли в верхнюю комнату, я сел. С любовью смотрел я на старые стены, почерневший потолок, полинявшие занавеси, на вербу в углу над кроватью, маленькие окна, на добрую мою жену и на злую, но милую моему сердцу дочь. Все имело для меня как бы новую прелесть.

— Слава богу, мы еще не умерли, и если б я мог теперь обнять Жакоба, то был бы совершенно счастлив.

Жена моя, закрыв лицо передником, молча

плакала. Гредель, стоя посреди комнаты, смотрела на меня. Наконец она спросила:

— А где лошади и телеги?

— Там... близ Монмеди, — отвечал я.

— А Жорж?

— Он пошел к жене... Мы все бросили и спаслись бегством. Мы были слишком несчастны! Немцы морили нас голодом.

— Они с вами, конечно, дурно обходились?

— Да, они меня били.

— Били! Вас?

— Да, они меня дергали за бороду и дали несколько пощечин.

При этих словах Гредель, как бы обезумела, открыла окно и, грозя кулаками немцам, воскликнула:

— О! разбойники, вы побили моего отца, лучшего из людей!

И только тогда она стала меня целовать, заливаясь слезами.

— Они за все это заплатят, за все! — бормотала она.

Я был тронут.

Успокоившись, жена моя рассказала, что они перенесли во время моего отсутствия: с одной стороны, они беспокоились обо мне, не получая никаких известий после той весточки, которую им принес разносчик, с другой— Пласиар, назначенный вместо меня мэром, накладывал на мой дом страшные реквизиции, говоря, что я — республиканец.

Что же касается его самого, то он теперь водил дружбу с пруссаками, приглашал их к себе обедать, пожимал им руки, не говорил с ними иначе, как на прусско-немецком наре-

чии. Верный слуга чиновников второй империи, он был теперь столь же верным слугою чиновников короля Вильгельма. Вместо того, чтоб писать в Париж и вымаливать себе награды, он обращался за этим к Бисмарку-Болену, и ему уже обещали доходное место, а также его сыновьям и зятю.

Все это меня несколько не удивляло, я наперед знал, что так случится.

В последние две недели немцы сами пекли себе хлеб и мололи муку у нас на мельнице, конечно, не платя за это ничего.

Жители Ротальпа не знали, что делать, так как решительно нечем было питаться. По счастью, немцы вскоре привыкли к нашему белому хлебу и с радостью давали за него часть своего рациона мяса, которое им попрежнему отпускалось в изобилии. Они также с удовольствием меняли баранину на цыплят и уток, так надоело им мясо баранов и быков. Катерина сделала несколько таких выгодных мен. Правда, у нас оставалась еще корова в Крапенфельском лесу, но надо было каждый день ходить в лес кормить ее и потом, подоив, нести молоко домой.

Гредель, отличавшаяся смелостью, приняла эту обязанность на себя и ходила ежедневно в лес со своей киркой в руках. Она рассказала мне со смехом, что однажды пьяный немец оскорбил ее и хотел за нею последовать в лес, но она нанесла ему такой удар киркой, что он чуть живой скатился с берега в ручей.

Всего более нас огорчали известия, что в Фальсбурге свирепствовали голод и оспа.

Более трехсот больных из тысячи пятисот жителей наполняли школу, превращенную теперь в больницу. Большой недостаток чувствовался в соли, мясе и табаке. Парламентеры, постоянно сновавшие взад и вперед по люцельбургской дороге, сообщали нам, что город не сможет долго продержаться.

Распространились слухи, что осадная артиллерия из-под Страсбурга и Меца, после сдачи этих крепостей, будет переведена к нам, но немецкий офицер, квартировавший у патера Даниэля, заявил, что не стоит для Фальсбурга прибегать к такой мере: новая бомбардировка обошлась бы немцам в три миллиона, а потому гораздо лучше предоставить фальсбургцам умереть естественной смертью, угаснуть от голода и истощения, подобно тому, как лампа гаснет за недостатком масла.

Говоря это, офицер надевал на себя личину человеколюбца, он непрестанно повторял, что следовало жалеть человеческую кровь и... военные снаряды.

Что делал Жакоб среди этих ужасов? А Жан-Батист Вернер? Мои мысли невольно обращались и к Жану-Батисту, хотя я сам запретил Гредель думать о браке с ним, сыном пастуха. Впрочем, она и не собиралась подчиниться этому решению, и сейчас все ее мысли были с Жаном-Батистом, там, в осажденном городе. Рисуя себе страдания возлюбленного, Гредель становилась диким зверем, бешеной тигрицей. Когда в такие минуты кто-нибудь из солдат ландвера обращался к ней, она указывала ему на дверь.

— Вон! вон! — кричала она. — Вам здесь не место!

Она вслух выражала желание, чтоб всех немцев изрубили до последнего, и прибавляла саркастически:

— Ступайте, атакуйте город!.. Идите на приступ!.. Вы не смеете?.. Вы бережете свою шкуру: вы предпочитаете, спрятавшись за ваши земляные окопы, морить народ голодом, бомбардировать женщин и детей и жечь дома несчастных! Надо быть просто трусом, чтоб так поступать. Если б это мы были вне крепости, а вы внутри, наши солдаты уж десять раз взобрались бы на стены; но вы люди осторожные, вы не рискуете своей шкурой!

Был конец ноября; холод усиливался; поля и деревья покрылись инеем. Теперь мы должны были не только отдавать ландверцам все, что имели, но и работать на них: рубить лес и привозить его в селение.

Солдаты ландвера с величайшей радостью сообщали нам каждое дурное известие и восклицали с грубым смехом:

— Ну, еще поражение! Вашим надо смыться из Орлеана! Надо уходить из Шампани. Дело идет хорошо. Ну, вы, поворачивайтесь, готов ли суп? Хорошие вести усиливают аппетит!

— Молчите вы, подлецы! — восклицала Гредель. — Мы не верим вашей лжи.

— И не верьте, — отвечали они, смеясь, — нам какое дело, нам лишь бы упрятать вас в мешок, тогда вы поверите! Только смотрите — не шевелиться, а то мы вас пришибем, как ошпаренную кошку. А-а! Вы смеетесь и

свищете, когда мы уходим, погодите, придут другие. Тогда вы будете о нас сожалеть, госпожа Гредель, и скажете не раз: «Ах! Если б у нас были наши добрые ландверцы!» Но тогда будет поздно.

Меня часто удивляет, как не пришла в голову Гредель мысль отравить наших постояльцев; по счастью, теперь мухоморы уже не росли, и к тому же мы должны были варить свой суп в одной с ними кастрюле, а то осторожные немцы возымели бы подозрение и заставили бы нас отведать их пищу, как они это делали в Катр-Ване и в некоторых других местах.

Между тем немцы все туже и туже стягивали железный пояс блокады вокруг города; на всех дорогах стояли пушки, и немцы так наострились, что стреляли в самую темную ночь.

Снег падал хлопьями, покрывая всю страну белым саваном; часто в полночь раздавались пушечные выстрелы и на улицах поднимался крик:

— Вылазка! Вылазка!

Все жители селенья, державшие свой скот, должны были по приказанию нового мэра Пласиара угонять этот скот в горы, чтобы французские отряды, прорвавшись к нам, не могли бы его похитить.

О! мошенник Пласиар, до каких подлостей он не доходил, чтоб заслужить милости пруссаков.

Грустно думать, что подобные люди умирают спокойно в своих постелях.

В конце ноября случилось событие, о котором я должен рассказать.

После того как выпал первый снег, ландверцы устроили за своими пушками большие землянки, открытые к югу и закрытые к северу. Защищенные таким образом от северного ветра, немцы разводили в этих землянках огни и отдыхали, ожидая каждый своей очереди итти в дозор; смена часовых происходила каждый час.

Они получили из своего отечества большие ящики с теплой одеждой, одеялами, шинелями, фуфайками и шерстяными чулками. Немцы называли это «дарами любви».

Однажды ночью, часов в одиннадцать, зная, что ландверцы ушли в караул и не возвратятся ранее утра, я пошел запереть калитку, выходящую на поля. Ночь была не лунная, но снег блестел между черными абрисами деревьев, и под большой грушей в моем саду я вдруг увидал... кого бы вы думали? Тюркоса в маленькой красной феске и синей куртке с галунами. Он прислушивался, облокотясь на ружье; глаза его блестели, как у кошки. Услышав скрип двери, он быстро обернулся.

При виде французского солдата, одного из защитников Фальсбурга, мое сердце забилося. Бросив быстрый взгляд по сторонам, я махнул тюркосу рукой.

В селении все спали, и нигде не было видно света.

Тюркос в несколько скачков очутился подле меня. Я поспешно затворил калитку и спросил:

— Верный француз?

Он молча пожал мне руку, и я повел его в комнату нижнего этажа, где еще сидели моя жена и Гредель.

Представьте себе их удивление!

— Вот настоящий тюркос, — сказал я, — он прямо из города и расскажет нам все новости.

Тюркос был чрезвычайно красив; брюнет с черными глазами, маленькой бородкой и белыми зубами. Я никогда не видывал человека красивее его. Ружье, которое он держал в руках, было обрызгано кровью, не только штык, но и самое дуло!

Он обрадовался пылающему в камине огню и, усевшись на место, уступленное ему Гредель, с благодарностью кивал головою, говоря:

— Да, да, верный француз!

Я спросил его, не хочет ли он чего-нибудь поесть; он отвечал согласием, и моя жена тотчас принесла из кухни большую чашку супа, приготовленного для ландверцев. Он с удовольствием съел все, но когда Катерина подала ему кусок говядины, он даже не отведал его, а спрятал в свой ранец; кроме того, он попросил соли и табаку, которые Гредель и поспешила ему принести.

Он обращался с нами, как все тюркосы, очень фамильярно, говорил нам ты, и хотел даже поцеловать руку Гредель. Она покраснела и, ни мало не стесняясь нашим присутствием, спросила, не знает ли он Жана-Батиста Вернера, пушкаря на батарее Мерэ?

— Жан-Батист? — произнес тюркос, — на третьем бастионе, бывший алжирский пушкарь... как же, я его знаю... добрый малый, храбрый француз!..

— Он не ранен?

— Нет.

— Он здоров?

— Да.

Тогда Гредель стала плакать, закрывая лицо передником; а Катерина спросила тюркоса, не знает ли он Жакоба Вебера, солдата 3-й роты мобилей. Тюркос не знал нашего Жакоба, но успокоил нас известием, что мобили потеряли очень мало людей. Потом он рассказал нам, что один капитан мобилей, по фамилии Сербер, посланный парламентаром в Люцельбург, воспользовался этим случаем и дезертировал; но немецкий генерал не захотел его принять — так возмутителен показался ему поступок этого офицера, — и Сербер уехал пленным в Германию. Эта новость меня несколько не удивила: я знал Сербера, он был мэром в Нидерваллере в четырех милях от нас, и всегда считался более бонапартистом, чем сам Бонапарт.

Пока тюркос рассказывал нам этот грустный эпизод, Гредель вышла из комнаты и через несколько минут возвратилась с грудой разной провизии. Она взяла весь мой табак и просила тюркоса отнести его Жану-Батисту и Жакобу. Она не смела сказать при мне, что посылала провизию одному Жану-Батисту, а потому говорила, отдавая каждую вещь: «это обоим». Тюркос обещал передать все по назначению, и тогда Гредель дала и на его долю всего понемногу, но он преимущественно просил соли, которой, по счастью, у нас было довольно, так что мы могли набить ею весь его ранец.

Между тем моя жена стояла в аллее часо-

вым; по счастью, все было тихо, и мы преспокойно проговорили с тюркосом по крайней мере с час.

Из его рассказов мы узнали, что в городе было много больных, что чувствовался большой недостаток в мясе, соли и табаке, и что все чрезвычайно скучали, не получая никаких известий о внешних событиях.

Около часа ночи поднялся ветер, наша дверь то и дело поскрипывала, и нам каждую минуту чудились возвращавшиеся ландверцы. Поняв это, тюркос объяснил нам знаками, что ему пора итти. Мы очень желали его удержать, но опасность была слишком велика, чтобы настаивать; он взял свое ружье, поцеловал на прощанье руку моей жене и, указывая на свой ранец, сказал:

— Это для Жакоба и Жана-Батиста.

Я проводил его в огород. Погода была ужасная, мела вьюга, но тюркос знал дорогу; в одну минуту он очутился у изгороди и перескочил через нее. Еще мгновение — и он исчез из виду. Я долго прислушивался; сторожевые огни ландверцев мелькали на горном скате, часовые перекликались во мраке ночи, но не слышно было ни одного выстрела.

Я возвратился домой; моя жена и Гредель казались очень довольными, и мы все отправились спать в самом лучшем расположении духа.

На другое утро мы узнали, что два ландверца были убиты в ночь, один близ Дамской аллеи, между городом и Катр-Ваном, а другой в ущелье Фике. Эти несчастные отцы семейств, вероятно, попались нашему тюркосу.

В Сен-Кантене один из немецких начальни-

ков, полковник фон-Кальден объявил жителям, что за всякий выстрел в немецкого солдата будет расстреляно шесть граждан. Повсюду немцы поступали немилосердно; их поборы и реквизиции разоряли край, и везде, где прошли наши победители, воцарялись бедность и запустение.

Из газет мы узнали о капитуляции Тионвиля после страшной бомбардировки, во время которой пруссаки отказались выпустить из города женщин и детей, о первых стычках Фэдерба на севере с Мантейфелем и о сражениях Шанзи с Фридрихом-Карлом близ Орлеана. Несмотря на малочисленность и неопытность наших войск, мы часто одерживали верх.

Эти вести воскресили в нас надежду. Но, увы! роковой удар грянул над нашими головами: Фальсбург, доведенный голодом до отчаяния, вынужден был сдаться после четырех месяцев осады.

О! мой старый родной Фальсбург! От грусти сжались наши сердца, когда вечером 9 декабря мы услышали жалобные выстрелы твоих пушек, которые как бы звали Францию на помощь. О! как мы страдали и горько плакали в эту минуту.

— Теперь все кончено! — сказал Жорж, — они зовут на помощь нашу Францию, нашу дорогую Францию, но она не может притти! Так корабль, погибающий в открытом море, просит помощи отчаянными выстрелами, но никто не слышит, и корабль исчезает в волнах.

О! мой старый, родной город, в который мы ездили на рынок и где всегда видали наших солдат, наших веселых французов, неужели теперь за твоими стенами вечно будут мрач-

ные немцы? Итак, все кончено. Нашу землю отнимут у ее сынов, нашу землю будут поирать люди, неведомые ей, они скажут: «Мы тебя охраняем! Мы твои повелители!»

Нет, это невозможно. Ты снова будешь французской, старая крепость Вобана, «рассадник храбрецов!»—как называл тебя первый Бонапарт. Дай вырасти нашим детям, и они освободят тебя от пришельцев, которые хотят тебя онемечить.

Но в этот грустный день наши сердца обливались кровью, и мы прятались в самые отдаленные уголки дома, чтоб не слышать печальных выстрелов.

— О! наш бедный город!—воскликали мы. — Мы не можем тебе помочь, но если б тебе нужна была наша жизнь, мы с радостью отдали бы ее!

Да, я никогда не ощущал такой боли, такого отчаяния, как в эти роковые минуты. Мысль увидеть Жакоба не могла меня утешить, и сама Гредель, бледная, считала выстрелы, произнося со слезами:

— Все кончено!

На другой день все дороги, ведущие к Фальсбургу, кишели немецкими офицерами, скакавшими взад и вперед; носились слухи, что немцы вечером вступят в город. Мы все готовили узлы с провизией для наших детей и родственников, не зная наверное, застанем ли их в живых.

Утром 11 декабря мы отправились в путь; немецкие часовые в Вехеме получили приказание пропускать пешеходов.

Фальсбург с своими 1500 мобилиями и 60 артиллеристами не капитулировал; он не вы-

дал своих орудий, ружей, снарядов и даже знамен, как Базен в Меце. Комендант Тальен не сказал своему гарнизону: «Для славы армии избегнем великого нарушения дисциплины, как, например, уничтожения оружия и снарядов, так как, по военным обычаям, крепости и оружие возвратятся Франции по заключении мира». Нет, он, напротив, приказал уничтожить все, что только могло пригодиться немцам; он велел затопить порох, заклепать орудия, сломать ружья, сжечь все кровати и постели в казармах, и когда все это было исполнено, он послал сказать немецкому генералу:

— Мне нечего есть!.. Завтра я отворю городские ворота!.. Делайте со мною, что хотите!

Немцы забегали; одни смеялись, другие с изумлением смотрели на крепость, которая доставалась им без боя. Впрочем, они почти все города брали без боя; они бомбардировали бедных жителей, вместо того чтобы ходить на приступ; они морили голодом мирных людей и могут похвалиться, что сожгли более городов и селений и уничтожили более женщин и детей в одну кампанию, чем остальные европейские народы в продолжение всех войн со времени революции.

Итак, 11 декабря, рано утром, моя жена, Гредель, Жорж, Марианна и я, замкнув на ключ наши дома, отправились на свидание с нашими детьми и друзьями, если они только были в живых.

Снег таял, и густой туман заволакивал всю окрестность; мы шли молча, друг за другом; впервые мы видали немецкие батареи перед Вехемом, у фермы Герберегофа и Арбр-Вера.

Всюду виднелись следы опустошения. Перед стенами крепости все было снесено: сады, огороды, изгороди, деревья; расстилалась обнаженная, покрытая снегом равнина, а вдали возвышались полуразрушенные стены несчастного города.

Мы шли среди большой толпы жителей соседних селений: старики, женщины, дети спешили узнать о судьбе дорогих им людей.

Таким образом мы дошли до фальсбургских ворот; они были отворены, и нигде не было видно часовых. Едва мы вошли в город, как грустное зрелище представилось нашим глазам: все дома разрушены, улицы загромождены развалинами; тут висит на воздухе окно, там торчит труба, далее высится несколько ступеней обвалившейся лестницы. Всюду видны следы немецких ядер и бомб.

Господи! неужели подобное опустошение — совершившийся факт? Да, увы! Это был не сон, а горькая действительность!

Было очень холодно. Жители Фальсбурга, бледные, изнуренные, встречали нас и молча пожимали нам руки.

— Вы очень страдали? — спрашивали мы вполголоса.

— Да.

И более ничего. Этого было достаточно: мы понимали друг друга. Чем далее мы шли, тем зрелище становилось ужаснее. Мы, то-есть Катерина и я, искали Жакоба, а Гредель, конечно, жаждала увидеть Жана-Батиста.

Мимо нас проходили несчастные мобили, которых едва можно было узнать. Несмотря на страшный холод, на них была летняя одеж-

да: полотняные блузы и шаровары. Многие из них могли бежать из города и скрыться в селениях, так как городские ворота были открыты со вчерашнего вечера; но никто о том не думал, так как все в городе полагали, что мобили не будут считаться солдатами, то-есть военнопленными.

На площади, перед полуразрушенною церковью, мы впервые узнали, что весь гарнизон объявлен военнопленным.

Кофейни Вашерона, Мейера и Гофмана кишели офицерами. Мы смотрели то в ту, то в другую сторону, не зная, к кому обратиться с просьбою отыскать Жакоба, как вдруг услышали пронзительный крик. Обернувшись, я увидел Гредель в объятиях Жана-Батиста Вернера. Я ничего не сказал, Катерина также промолчала. Если уж таково было желание нашей дочери, то Христос с ней! Дело касалось ее более, чем нас.

Жан-Батист, после первой минуты счастья, очень смутился, увидав нас; он, бледный, подошел к нам, и Жорж, видя наше неловкое положение, протянул ему руку, говоря:

— Жан-Батист, я знаю, вы хорошо себя вели во время осады; мы все узнали об этом с удовольствием. Не правда ли, Христиан? Не правда ли, Катерина?

Что нам было отвечать? Я сказал: «Да», а Катерина со слезами воскликнула:

— Скажите, Жан-Батист, Жакоб не ранен?

— Нет, г-жа Вебер, — отвечал он, — мы с ним постоянно видались. Он совершенно здоров. Я сейчас его отыщу. Войдите куда-нибудь и подождите меня.

— Мы пойдем в кофейню Гофмана, — ска-

зала она. — Приведите его скорее, Жан-Батист.

Но не успел он сделать нескольких шагов, как воскликнул:

— Вот он идет. Жакоб! Жакоб!

Через минуту мы очутились в объятиях друг друга.

На Жакобе была толстая солдатская шинель и полотняные шаровары; он выглядел бледным и изнуренным.

— А, это вы! — произнес он, заикаясь. — Вы не умерли?

Он был какой-то странный, одурелый.

Катерина, прижимая его к груди, повторяла: — Это он! Это он!

Мы вошли в кофейню Гофмана, за нами следовали Жорж, Марианна, Гредель и Жан-Батист. Мы уселись за отдельный столик, и Жорж велел подать кофе, так как мы все озябли.

Все молчали и в смущении смотрели друг на друга.

Молодые офицеры мобилей разговаривали в соседней комнате, и мы слышали, как они говорили, что ни за что не подпишут обязательства не бороться против немцев в продолжение всей войны и лучше отправятся в Германию, как военнопленные, разделив судьбу солдат.

Мысль, что нам снова надо будет расстаться с Жакобом, заставляла обливаться кровью наши сердца, и Катерина, припав головою к столу, начала всхлипывать. Я видел, что Жакобу очень хотелось бы возвратиться с нами на мельницу, но он не был офицером, и ему даже не предлагали остаться во Франции под

честное слово. Впрочем, слыша, как храбрые молодые люди отказывались от свободы, чтобы исполнить свой долг, я ни за что не согласился бы на бесчестие моего сына. Каждый должен вести себя, как подобает человеку.

Вернер беседовал вполголоса с Жоржем; верно, у них были какие-нибудь тайны. Я видел, как Жорж сунул ему что-то в руку. Что бы это такое было? Я решительно не понимал; но через минуту Жан-Батист встал, без всякой церемонии поцеловал Гредель и объявил, что ему пора идти, так как он дежурный. Он протянул руку мне, Катерине и Марианне и вышел вместе с Жоржем и Гредель. Минуты через две последние возвратились, и глаза Гредель были заплаканы, а в руках у нее не было корзинки с провизией.

На площади начинался смотр, и Жакоб побежал к своим товарищам. Я никогда не видал более грустного зрелища, чем этот смотр, устроенный нашим бедным детям, пятидесяти тюркосам и нескольким зуавам, бежавшим изпод Фрешвиллера. Они были в лохмотьях, бледные, изнуренные, без всякого оружия; они его изломали до вступления немцев в город.

Вдруг Жакоб подбежал к нам с известием, что им приказано оставаться в казармах и что завтра, в двенадцать часов, их отправляют в Германию. Он не выдержал и расплакался. Я и Катерина молча отдали ему наш узел, в котором находились три полотняные рубашки, одна пара почти новых башмаков, шерстяные чулки и теплые суконные панталоны. Потом я снял с себя дорожную шинель и одел на него; вместе с тем я сунул ему в карман сверток с талерами, а Жорж дал ему два золотых. Же-

на моя и Гредель так рыдали, что я обещал возвратиться завтра с ними в Фальсбург.

Между тем гарнизон проходил по улице, Жакоб стал на свое место в рядах мобилей и вскоре исчез из наших глаз.

Немецкие офицеры ходили взад и вперед, размещая своих солдат по квартирам. Был полдень, мы отправились обратно в Ротальп с еще большей грустью на сердце, чем прежде. Конечно, Жакоб был жив, но его уводили бог знает куда, в отдаленные местности Германии.

Моя жена возвратилась домой совершенно больная; сырая погода, беспокойство, горе так сильно на нее подействовали, что она слегла в постель и не могла итти на другой день в Фальсбург. Гредель осталась дома, чтобы за нею ухаживать. Поэтому я отправился в город один.

Приказ отправить пленных в Люцельбург пришел рано утром, и, дойдя до угла площади, я увидел, что они были уже выстроены по два в ряд и готовы к походу. Все жители закрыли ставни в окнах, чтобы не видеть унижительного зрелища, как гессенцы с ружьями в руках окружали наших бедных юношей, грустно поникших головами.

Печальное шествие началось, и я остановился у аптеки, тщетно стараясь разыскать в толпе Жакоба. Вдруг я его увидел и воскликнул: — Жакоб!

Он хотел броситься ко мне на шею, но гессенцы меня оттолкнули. Мы оба заплакали. Я пошел рядом с немецкой стражей.

— Не унывай!.. — твердил я моему сыну. — Пиши там... твоя мать не могла притти... она больна... не беспокойся, ее болезнь не опасная.

Он ничего не отвечал. Я шел не один, а среди целой толпы таких же несчастных, как и я, провожавших своих детей.

Мы хотели проводить их до Люцельбурга, но у городских ворот прусские часовые, скрестив штыки, преградили нам дорогу. Они даже не позволили нам проститься с нашими детьми.

Со всех сторон слышались крики:

— Прощай, Жан!

— Прощай, Пьер!

— Прощайте, матушка!

— Прощайте, батюшка!

И эти восклицания сопровождались всхлипываниями и рыданиями. Мне пришлось стоять у городских ворот целый час; наконец, немцы позволили выйти, и я отправился домой с сердцем, разбитым горем и отчаянием. В ушах у меня раздавался грустный крик: «прощайте, прощайте!»

Да, я желал бы лучше, чтоб потоп уничтожил всю землю, мне легче было бы видеть, как разъяренные волны затопили бы Эльзас, чем присутствовать при том, как моя бедная родина переходила во власть врагов, розорявших и унижавших ее.

После сдачи города мы, наконец, освободились от наших ландверцев; часть их была переведена в Фальсбург, а остальные отправлены во внутреннюю Францию. Ландверцы выходили из себя от негодования и говорили, что если бы знали о новом походе, то продлили бы осаду, то-есть, вопреки распоряжениям своих начальников, пропустили бы в город мясо и хлеб. По их словам, они уже исполнили свой долг, и несправедливо было подвергать

их новым опасностям. В них не было ни малейшего энтузиазма, но делать было нечего, и ландверцы отправились в путь, кто к Бельфору, кто к Парижу.

Мы узнали впоследствии, что им много пришлось вытерпеть под Бельфором; гарнизон делал постоянные вылазки, комендант Данфер не давал осаждающим покоя, и мертвые тела немцев гнили под изгородями на снегу, в грязи. Эльзасцы, от времени до времени приходившие к нам, рассказывали, что тот или другой знакомый нам ландверец убит ядром или штыком наших мобилей.

Вот что выиграли немецкие поселяне, работники и средний класс; что же касается до начальников, то одни получили титулы, другие пенсии, трети самодовольное сознание, что они великие люди.

Немцы были полны воинственного пыла. Это доказывается тысячами немецких петиций, полученных королем Вильгельмом с требованием немедленно начать бомбардировку Парижа. Честные немцы, отцы семейств, сидя спокойно в своих конторах в Гамбурге, Кельне, Берлине и в других городах и селениях Германии, греясь у каминов в холодную зиму, имея вдоволь пищи и питья, требовали, чтобы бомбардировали Париж, чтоб убивали тысячами отцов и матерей и без того умиравших с голоду в разоренных своих жилищах.

— Бомбардируйте!.. Бомбардируйте!.. Поджигайте бомбами с керосином жилища всех беззащитных граждан!.. Вы оказываете слишком большое снисхождение нечестивому Вавилону!..

— Бомбардируйте, как можно скорее!.. Бом-

бардировки нам удавались лучше всего!.. — вопили немцы.

Париж, как мы узнали, делал постоянные вылазки. Национальная гвардия и мобили практически обучались военному делу и становились все способнее и способнее к обороне. Наши моряки, защищавшие форты, приводили всех в восторг. Но немцы, с своей стороны, укреплялись с каждым днем все более и более; они доставили из Германии такие огромные пушки, по названию крупповские, что их нельзя было везти по железным дорогам, из-за недостаточной высоты туннелей и недостаточной прочности мостов; это доказывало, что если бомбардировка Парижа еще не началась, несмотря на бесчисленные петиции добрых немцев, то этому причиной была необходимость укрепить позиции, — так сильно беспокоили немцев наши форты и вылазки.

Наконец в конце декабря немцы начали бомбардировать некоторые форты; потом, откинув уже всякие церемонии, стали стрелять по домам, госпиталям, церквям и музеям.

Немецкие газеты ежедневно распространялись о том, какое несчастье дойти до крайней необходимости бомбардировать такие богатые библиотеки, такие прекрасные картинные галереи, такие великолепные памятники, такие роскошные сады; далее они докладывали публике, что их сердце обливается кровью, и они никогда не утешатся; что немцы были доведены до такой грустной крайности упрямством тех, кто защищал свои семейства, свои жилища и свое имущество от «добрых немцев», желавших им только добра. Они жалели французов, которые, по их мнению, потеря-

ли всякий здравый смысл и мало-помалу впадали в детство.

Но каждый раз, как убивали немцев, немецкие газеты поднимали страшный крик: немцы святы! Убивать немцев, высшую на свете расу, — да это страшное преступление! Французы, швейцарцы, датчане, голландцы, бельгийцы, поляки, венгерцы и даже русские созданы для того, чтоб немцы их проглотили одних за другими. Не раз я слышал это своими собственными ушами. «Русские не могут обойтись без немцев; их науки, торговля, промышленность — все дело немцев; они также принадлежат к низшей расе, их знаменитые люди не достойны стереть пыль с сапогов Бисмарка», — так постоянно твердил нам капитан ландверцев, квартировавших у нас; впрочем, все немцы говорят теперь то же самое; они слишком сильны, чтоб скрывать свои честолюбивые замыслы. Для нас, эльзасцев и лотарингцев, великая честь, что они признают нас своими братьями и дружески, по-родственному, нас разоряют. Мы были представителями высшей расы среди развращенной Франции, но среди благородной немецкой нации мы станем малолетними детьми, последними из немцев, и нам понадобится много времени, чтоб приобрести все немецкие добродетели и, не морщась, сносить пинки баронов. Что ж прикажете делать? Грубый народ нельзя облагородить в один день!

Пруссаки уверяли, что они возьмут Париж после восьмидневной бомбардировки; но парижане держались твердо; постоянно мимо Саверна проходили бесчисленные поезда раненых пруссаков; немцы начинали бояться по-

ражения, так как народ, восставший поголовно, имея оружие, как это было в трети наших департаментов, в конце концов должен был одержать победу!

Все вокруг меня радостно и нетерпеливо ждали, что так это и будет.

Я ничего не говорил. Меня, пожалуй, одинаково пугали и наши поражения и наши победы.

Если бы пруссаки были разбиты, то прежде, чем уйти из нашей страны, они сожгли бы все селения. Я слышал это несколько раз от одного немецкого капитана в Фальсбурге.

— Желайте нам успеха! — говорил он. — Горе вам, если нас побьют! Все, что вы вытерпели до сих пор, — пустяки, шутка. Мы не оставим камня на камне в Эльзасе и Лотарингии. Этого потребует от нас чувство самосохранения. Потому молитесь господу богу, чтоб он доставил победу нашим армиям. Если нам придется отступить, ваша участь будет горькая!

Эти слова до сих пор раздаются в моих ушах.

Но все это ничего не значило, я пожертвовал бы домом, мельницей, всем, если бы был уверен в том, что мы одержим окончательную победу и останемся французами. Но этой уверенности во мне не было.

Перенося одно страдание за другим, я наконец потерял не только мужество, но и веру в себя, а это величайшее несчастье, так как вера в себя — главный источник нашей силы.

Около этого времени мы получили письмо от Жакоба. Он писал:

«Милый батюшка и милая матушка!

Я, слава богу, еще не умер и был бы очень рад получить от вас весточку. Из Люцельбурга мы тотчас же были отправлены далее по железной дороге в вагонах для животных. В каждом вагоне нас было по тридцати и сорока человек, и вы можете себе представить, как нам было покойно, когда узнаете, что в вагонах не было скамеек, а вместо окон с обеих сторон имелись только маленькие отверстия. Если кто-нибудь желал подышать воздухом или спросить стакан воды, то перед носом его появлялся штык; немцы не позволяли человеколюбивым душам подать нам даже напиток. И вот так — стоя, не имея возможности нагнуться, мы оставались в продолжение всего пути. Многим делалось дурно, я с трудом переводил дыхание, мне сводило ноги; мы думали, что немцы изобрели новый вид казни и хотят нас уморить.

Между тем мы переехали через Рейн и по другому берегу доехали до Раштата. Там оставили последние вагоны, в которых находился и я, остальные отправили далее в Германию. Сначала нас поместили в казематах под городским валом, где многие пленные, прибывшие ранее нас, умирали, как мухи. В этих сырых, холодных подземельях гнила солома и гнили люди. Городские и полковые доктора боялись, чтобы зараза не распространилась по всем окрестностям, а потому неделю тому назад вывели из казематов всех, кто мог еще ходить, и поместили нас в больших деревянных бараках.

Барак, в котором я нахожусь, втрое боль-

ше фальсбургской залы; он стоит между двумя крепостными бастионами, так что при малейшей мысли о мятеже нас осыпали бы гранатами, и в десять минут никого не осталось бы в живых. Мы это хорошо понимаем и не выходим из себя, хотя баденцы обращаются с нами, как с животными.

«Нам дают два раза в день по небольшой порции супа с бобами или просом и маленький кусочек говядины, не более перста, то есть нас кормят настолько, чтобы мы не могли умереть с голода. После такой осады, какую мы вынесли, нам нужна была бы другая пища; носы у нас походят теперь на вороньи клювы, а щеки с каждым днем все более и более западают, так что если бы пушки не были направлены на наш барак, мы возмутились бы уже давно.

«Пора кончать письмо; сотню раз целую всех — отца, мать, Гредель, Жоржа и его жену.

Ваш сын Жакоб Вебер».

«Я забыл вам сказать, что некоторые из наших фальсбургских товарищей бежали по сдаче города, в том числе Жан-Батист Вернер. Говорят, они отправились к Гарибальди; как бы я желал быть на их месте. Немцы говорят, что если они снова попадутся в плен, то их без милосердия расстреляют; но я уверен, что никто не попадет, особенно Жан-Батист. Если бы у нас было только двести тысяч таких людей, как он, то баденцы не надоедали бы нам теперь своим супом с бобами и своими пушками, направленными на нас.

Раштат 6 января 1871 года».

Единственным событием в конце этого несчастного января месяца, доставившим нам небольшое удовольствие, явилось разрушение вольными стрелками моста на железной дороге в Фонтенэ, между Нанси и Тулем. Но наша радость продолжалась не долго; через три или четыре дня объявления, вывешенные на дверях мэрии, известили нас, что немцы сожгли селение Фонтенэ в наказание жителям, отказавшимся выдать вольных стрелков, и что все мы, лотарингцы обязаны уплатить чрезвычайную контрибуцию в десять миллионов франков.

В то же время видя, что французские работники отказываются от починки моста, прусский префект департамента Мерты писал к мэру Нанси:

«Если завтра, во вторник 24 января, к 12 часам, 500 работников не явятся на станцию железной дороги, то надсмотрщики и известное количество рабочих будут схвачены и на месте расстреляны».

Этого префекта звали Ренар, «граф Ренар».

Я привожу его имя для того, чтобы о нем не забыл ни один француз.

Но все это ничто в сравнении с тем, что нас еще ожидало.

Однажды утром пруссаки приказали мне смолотить несколько мешков зерна; я не мог отказаться, потому что иначе они меня избili бы и, быть может, увели в Мец. Я давно уже уверял, что мельница не работает из-за снега, льда и понижения воды в шлюзе, но теперь шел дождь, снег растаял, шлюз был переполнен водой, и мне поневоле пришлось трудиться. Было, кажется, 2 или 3 февраля,

хорошенько не помню. Я работал на мельнице вместе с Офраном и Катериной, которые мне помогали. Гредель, убрав кухню и разведя огонь в печке, одевалась в своей комнате.

Вдруг, часов в 8 утра, я увидал Жоржа и Марианну, приближавшихся к мельнице. Он шел быстрыми шагами, а она следовала за ним вприпрыжку. На улице кроме них было несколько соседей и какой-то ландверец.

— Ты знаешь, что делается? — воскликнул Жорж еще издали, увидав меня.

— Нет. А что?

— Заключено перемирие на двадцать один день; парижские форты сданы неприятелю, который может сжечь город, когда ему вздумается, и послать все свои войска против Бурбаки, потому что перемирие не касается военных действий на востоке.

Жорж был бледен, и голос его дрожал. Гредель слушала его, стоя на лестнице и расчесывая волосы.

— Вот посмотри, Христиан, — продолжал Жорж, держа в руках газету, — прочти-ка! Все отряды Бурбаки и Гарибальди переданы в руки неприятеля этим перемирием. Мантейфель, идя из Парижа с шестидесятитысячным корпусом, отрезал им отступление, и несчастным, поставленным между армиями Мантейфеля и Вердера, остается только сдаться. Все, бежавшие из Меца, Страсбурга и других крепостей к Гарибальди, будут расстреляны, а значит и наши несчастные фальсбургские мобили: ни один из них не избегнет горькой участи.

Пока Жорж говорил, Гредель сошла с лестницы, даже не потрудившись надеть

башмаки, и, бледная, как смерть, читала газету через его плечо. Жорж теперь пожалел, что принес газету, но уже было поздно; Гредель выхватила ее из его рук и стала бегать взад и вперед, как сумасшедшая, крича во все горло:

— Подлецы! Разбойники! Мой бедный Жан-Батист! Мой бедный Жан-Батист!

Она, казалось, искала какого-нибудь оружия, а я, боясь плачевных последствий этой вспышки, старался ее успокоить:

— Гредель, ради бога! не затевай скандала; тебя услышат все соседи!

— Молчите, — отвечала она свирепо, — вы причина всех наших несчастий!

— Я?! — воскликнул я с негодованием.

— Да, вы, — повторила она, бросая на меня убийственный взгляд, — вы обманули всех, обещая мир. Вы желали мира, любого, любой ценой. Идите к Базену и к другим изменникам, вы такой же, как и они.

— Гредель! Гредель! — воскликнул я, испугавшись ее слов и грозного вида, — как ты смеешь говорить так с своим отцом?

— Боже мой! — воскликнула моя жена. — Гредель, ты нас всех погубишь.

— Ее надо простить, — сказала Марианна, — несчастная рехнулась.

Я никогда не подвергался такому унижению и еще от родной дочери! Но Гредель никого не пощадила; когда Жорж хотел ее усовестить, она закричала:

— Вы! вы смеете еще говорить! Вы, старый солдат! Стыдитесь, вам надо не газеты читать, а сражаться. Ландверцы такие же старые, как и вы, седые, в очках, а они

все идут в поход. Вот почему нас бьют.

При этих словах я вышел из себя и побежал за плеткой, чтоб примерно наказать непокорную дочь, как вдруг, по несчастью, в дверях показался ландверец. Увидав его Гредель так дико вскрикнула, что волосы у меня встали дыбом, и схватила кирку. Жорж успел только удержать ее за волосы, но кирка уже рассекла воздух и вонзилась на три пальца в дверь.

Ландверец, старик с седыми волосами, видел, как железное орудие пронеслось мимо его уха, и слышал, как Гредель, удерживаемая Жоржем, кричала:

— Подлец! Я в него не попала!

Ландверец бросился бежать со всех ног. Я последовал за ним, боясь, что он пойдет к мэру, но он пробежал далее, по дороге в Вехем!

Тогда Гредель пошла к себе в комнату, надела башмаки, взяла корзинку, хлеб и нож и бегом отправилась в горы, где наша корова и коровы соседей паслись под присмотром старого пастуха.

— Вот скверная история!—сказал Жорж.— Ландверец донесет, и сегодня вечером явятся за тобою прусские жандармы. Бедный Христиан! Откуда у тебя такая дикая дочка? Она совсем не походит на свою мать и бабушку.

— Что делать? — заметила Марианна, — она любит своего Жана-Батиста.

«Жаль, что они уже не женились, — подумал я, — будь он здесь, я бы сейчас же дал свое согласие».

Но надо было как-нибудь уладить историю

с ландверцем; Жорж советовал догнать и купить хотя бы дорогой ценой его молчание. Правда, пруссаки падки на деньги, но где его было искать? К тому же я не имел теперь лошадей, а пешком его нельзя было уже догнать. Делать нечего, пришлось предоставить свою судьбу милосердию божью.

Но, странно сказать, этот ландверец никогда более к нам не показывался. В тот же день два других немца с поручиком Гартигем приходили за мукой и не сказали ни слова о случившемся. Два дня мы со страхом ожидали жандармов. Я не знал ни минуты покоя, а Катерина, увидав на дороге кого бы то ни было, кричала:

— Христиан! Христиан, спасайся! Идут прусские жандармы!

Что касается Гредель, то она целую неделю оставалась в лесу на Крапенфельц, где каждое утро навещали ее дровосеки и рассказывали обо всем, что происходило в селе. Наконец она возвратилась домой, прошла в свою комнату, переменила платье и принялась за работу, не говоря ни слова о происшедшем. Мы, конечно, с своей стороны, нисколько не желали напоминать ей о Жане-Батисте.

Но при взгляде на нее я всегда испытывал тягостное ощущение вины. Гредель оказалась права: долгожданный мир, который мы, наконец, получили, был страшнее всех испытаний, какие мы уже перенесли: ведь мы потеряли родину.

Моя история окончена; пусть каждый извлечет из нее полезный урок.

Редактор *Л. Скорино*

Подписано к печати 19/II 1942 г. 3¹/₂ п. л.
Тираж 50.000. Заказ № 4463. А 65222. Цена 1 р. 20 к.

Г. Ижевск, типография полиграфуправления
ул. Пастухова 13.

1 p. 20 n.

77

23